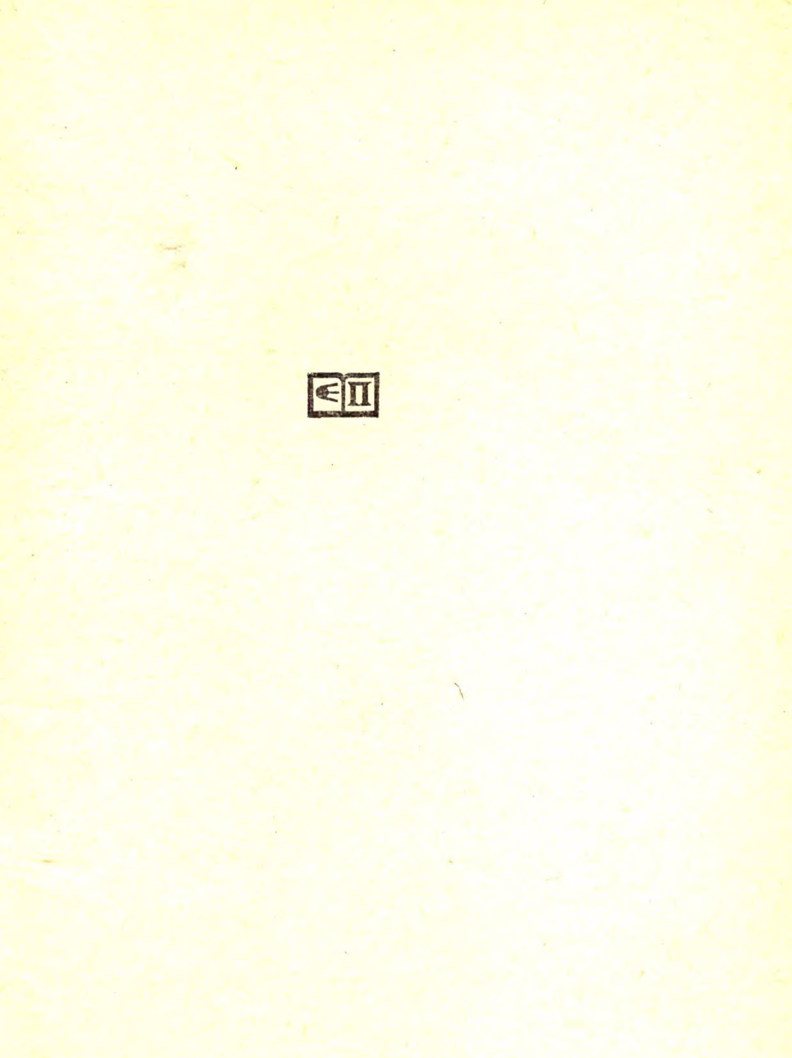

Натали Саррот


золотые
плоды





NATHALIE SARRAUTE

LES FRUITS D'OR

PARIS 1963

НАТАЛИ САРРОТ

«ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ»

РОМАН

Авторизованный перевод с французского
Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1969

Послесловие В. Лакшина
Редактор Е. Бабун

7-3-4
90—68

— Послушай, ты вел себя ужасно, неужели нельзя было сдержаться... Мне стало так неловко...

— Неловко? Что за чепуха? Почему неловко, черт возьми?

— Все это ужасно... эта открытка, эта репродукция... с каким видом он ее достал... А ты бы посмотрел на себя: взял ее в руки, сунул мне не глядя, даже не посмотрел в его сторону... Он был так обижен...

— Обижен... подумаешь! Обиделся, потому что я не впадаю в экстаз, как они все, не падаю ниц...

Падать ниц всем, сразу, в экстазе... возгласы хором... чудо единения... До чего странные люди... Вот он засунул руку в нагрудный карман и вынимает... Тут тебе надо бы обрадоваться, как радуется врач, когда приходит конец его сомнениям и он видит там, где и предполагалось, крошечный прыщик, сыпь... надо было обрадоваться, когда он достал из внутреннего кармана, у самого сердца, именно это и протянул тебе, жадно блестя глазами, предвкушая эффект: «Вы видели этот рисунок?.. Курбэ... Изумительно... Взгляните...»



— Смешно. Чудак он. Понимаешь, это же та самая репродукция... теперь они все держат ее у себя дома...

Прикноплена на серых с розами обоях, над письменным столом — для вдохновения — или над камином, меж зеркалом и рамой, и везде — о, чудо! — та же самая... А какие у них становятся лица... какие ужимки... Застенчиво... Гордо... Это мое открытие... Моя находка... Мое маленькое тайное сокровище. Не расстаюсь с ним никогда. Но вы, вы... с вами можно... Вы вполне достойны... Вам я могу без боязни: это не профанация, не принижение... С вами, только с вами поделиться. Дарю. Подношу вам. Лучшее, что у меня есть.

Крупная голова, выпуклые глаза, толстые губы — трубочкой... и — приглушенным голосом, с трепетом. «Курбэ. Единственный. Самый великий. Да, я утверждаю. Я не боюсь этих слов. Он — величайший гений. Шекспир и он. Всегда говорил и говорю: Шекспир и Курбэ».

— Что же, по-твоему,— он повысил голос,— я позволю собой вертеть? Мне в высшей степени безразлично — пусть обижается. Не люблю, чтобы меня учили... Считали за дурака.

— Право, я тебя не понимаю. И никогда не понимала, как ты можешь принимать все это так близко к сердцу? А мне всегда до того боязно. Особенно с ним. Да и вообще с ними со всеми... Честное слово, я просто не знаю, куда деваться. Мне всегда кажется...

— Да, на тебя и смотреть было смешно... Вся подалась вперед... с таким благоговением, так серьезно... Будто перед причастием... А голосок... «Ах, да... Прелестно... Где она? В каком музее? Да, да... Великолепно...» Нет, ты меня рассмешила... А сама и не смотришь.

— Да, не смотрю. Я из вежливости. Может, если бы не ты, я бы тоже не так... Но мне за тебя неловко, не могу я...

— А вот представь себе, по-моему, ты вела себя с ним нехорошо... Ты не права... Я, например, вовсе не презираю его...

— А я презираю? Ты с ума сошел!

— Вот именно. Презираешь. «Ах, бедняжка, надо с ним помягче. Он так страдает от своего снобизма, от своей глупости... Не надо трогать... больное место. Не замечать ничего, так стыдно... А он такой чувствительный, страшно дотронуться...» Ты с ним обращаешься, как с психическим больным. Да и все ломают с ним комедию. Вы мне напоминаете пьесу Пиранделло[1], помнишь — санитары изображают придворных? Он — слово — и все в восторге. Он несет чепуху — и все соглашаются, пряча глаза. А он рыщет взглядом, нет ли где несогласных. Он их не терпит. И чуть кто пытается взбунтоваться — все на него, скопом... Все, как ты: «Ах, мне неприятно... Я разволновалась». А я вот не разволновался... С такими вещами не шутят, я этого не люблю... Курбэ тут ни при чем... Не в том дело... Я сам ходил его смотреть, нашего знаменитого Курбэ, нарочно ходил во время завтрака, чтобы никого не встретить. Посмотреть спокойно, со свежей головой. Невозможно! От них не удерешь... Уже на лестнице — иду наверх, а он спускается — этот Дюлю, ну, критик, пишет бездарные статейки и всегда невпопад... А тут он сразу — палец вверх: «Что, будете смотреть?.. Какая выставка, а? Вы в первый раз? Вот увидите. Первоклассно. Грандиозно. Потрясающе... Только умоляю, не пропустите... там, в конце, в малом зале... крошечное полотно... внизу слева...» Это уж он сам открыл, лично. Это его заслуга: «Голова собаки. Вот увидите. Молчу, молчу!»

— Но ведь им и вправду это нравится... Уверяю тебя. Им хочется с кем-нибудь поделиться... По-моему, это даже трогательно.

— И я знаю эту потребность — непременно делиться, общаться. Да, все это прекрасно, все это очень хорошо... Но такой тип, как Дюлю,— нет, не смеши меня...

Узнают друг друга с первого взгляда. Люди одного круга, не так ли? Те же закрытые клубы, те же салоны. Те же портные, поставщики. Тот же цветок в петлице, те же гетры и шелковые жилеты, тот же монокль в

[1] В пьесе Пиранделло «Генрих IV» речь идет о безумце, вообразившем себя королем.— *Здесь и далее примечания переводчика.*

глазу. Но эта маленькая деталь, этот чуть заметный признак изящества... такой смелый, такой тонкий штришок... редкий вкус, изысканность... «О, пустяк... Только вам, строго между нами... пройдите туда, скажите — от меня,— что вы, что вы, пожалуйста! — и там, в глубине, слева... Никто не замечает, но я вам советую. Поразительная вещь, вы просто влюбитесь: голова собаки...»

«А голова собаки? Вы ее видели?.. По-моему, восхитительно... По-моему, просто чудо... Одна эта маленькая вещь могла бы...»

Да, эта маленькая вещь объединила всех... восторги... слияние душ, единство... Кажется, и я поддаюсь... щекочет нервы, изумительно... Подступает, накатило... Возгласы... Экстаз... Ну же, давайте, все вместе, громче... Еще, еще. Вперед. Теперь и я лечу со всеми вместе, сметая преграды, срывая тормоза... До конца... Меня ничто не удержит... ни жалкая боязнь смешного, ни леденящий страх стыда. Еще. Я поддаюсь, я охвачен восторгом... А он, вон там... смотрите. Он впадает в транс... в него вселилось божество, он в конвульсиях, закатил глаза, на губах пена, катается по земле, рвет на себе одежду... «Для меня...» Он бьет себя в грудь... «Для меня, я не боюсь сказать... нет ничего выше. Курбэ — самый великий. Шекспир...» Последний спазм. Все тело — дугой: «Шекспир и Курбэ».

— Слушай, меня от этих людей мутит. Стадо овец, отвратительно... Мне осточертели их вопли, их истерики. Все преувеличено, и восторги и похвалы... Главное — переплюнуть друг дружку. Только послушать их. Он один, нет ему равных ни среди современных художников, ни среди старых мастеров. Величайший гений мира. И все это всерьез, понимаешь? Никто не улыбнется. Им все нипочем, они не боятся быть смешными, да и кто им судья? Они всегда правы, будьте спокойны! И если кто осмелится им перечить... Ты видела, как он на меня посмотрел? Да если бы я даже боготворил Курбэ... у него действительно есть прекрасные полотна... все равно я бы промолчал. Этот их Беллок, который хвалит самую жуткую пачкотню... А Мазиль... всегда бьет мимо. Лю-

бую дрянь превозносит до небес... Но об этом ни слова. Молчание. Им все сходит с рук. И горе тому, кто посмеет напомнить... Ты себе представляешь — неуч, тупица вдруг спросит: «Неужто мнение Мазиля имеет значение? Помните, как он расхваливал этого маляра?..» Фу, как он смеет... Ату его! Ату! Какой ужас! Какая непристойность! Разве можно так оголяться? Нельзя же... напоказ... Вот ты меня считаешь безжалостным, грубым... Но я бы и то не стал... Слишком легко их уязвить... Ведь в душе я такой же, как ты... Мне их как-то жалко...

— Тебе — жалко? Вот мне было действительно жаль его, когда ты с таким видом... А он как будто весь раскрылся... такой беспомощный, беззащитный. Мне казалось, ты пользуешься его слабостью... не знаю... так грубо... Да, уверяю тебя, в тебе было столько превосходства, высокомерия... Мне вдруг стало ужасно его жаль...

...Так мягко, деликатно, немного боязливо. Смутно чувствуя какую-то враждебность, угрозу, стараясь, напрягаясь, не жалея сил, только бы их обезоружить, задобрить, отдать им все, да, все, что угодно... вон то, или нет — вот это... Все вам, вот... кладу у ваших ног... все, что я видел... все, что знаю... фильмы, пьесы, романы, концерты, выставки... Ну как, вам нравится?.. Угодил?.. Хоть бы отвести от себя... хоть бы... слабая надежда — да смогу ли я, удастся ли мне... До чего трогательно это детское упорство, эта наивность... удастся ли увлечь вас, захватить?

Робкая улыбка сразу гаснет, доверчивый, дружественный взгляд вдруг тускнеет, туманится, подергивается влагой, в нем беспокойство, удивление... Вот животное — ничем его не смягчить, бесчувственный, бесстрастный, улещивай его сколько угодно. И тут последняя попытка... рука во внутреннем кармане... вынуть это сокровище... талисман... тайный знак. Ведь мы же братья, правда? Я знаю, знаю... Я вам несу святые дары... Я подаю вам хлеб-соль...

— Нет, ты был несносен... Ты был невежлив. Почему тебе всегда хочется наказать человека, если он

чему-то поддался хоть немного, зачем силой заставлять его быть независимым? Ты его задел, ты его обидел... Мне было больно смотреть — он так съежился...

— Ничуть он не съежился... Впрочем, вполне возможно, что он и съежился. От презрения. От отвращения... А на тебя смешно было смотреть, до чего ты старалась сгладить мою «промашку», выпросить за меня прощение. А по-моему, он мне надерзил... вдруг переменил тему, завел разговор про отпуск...

— Конечно, ведь ты сам показал, что отвергаешь его дары. Ты не захотел побрататься с ним... Вот он и попытался найти другую тему...

— Другую тему, хо-хо! Вот именно. Другую тему. Доступную моему пониманию. Поездки — вот это для меня. Еще немного — и он стал бы обсуждать со мной марки автомобилей: это доступно! Но до чего ты перепугалась... Не выдержала...

— Да, не выдержала, не могла...

Земля разверзлась. Гигантская пропасть. И он на той стороне, он удаляется, не обернувшись... надо крикнуть... позвать... пусть обернется, пускай возвратится... ах, не бросайте нас... мы идем к вам, на ваш берег, помогите, помогите, мы идем... хватайте конец... еще одна попытка... доверьтесь нам еще раз... Скажите, а вы читали?.. Что вы об этом думаете?..

— А самое потешное, когда ты его спросила... мало тебе было разговоров, нет, надо нарочно его втягивать... когда ты его спросила про эту книжицу...

— Про «Золотые плоды»?..

— Да-да, про них. Я подумал, проверяешь ты его, что ли? Хочешь узнать, действительно ли он такой... что он думает. И ты про книгу... Что у тебя было на уме? Что ты вообразила?

— Абсолютно ничего. Мне и дела нет до его мнения. Просто хотелось его успокоить. Вернуться в его дом, в его вотчину...

— Опоздала... Он не поддался. У него до сих пор стоит поперек горла, что я не глядя передал тебе репродукцию и слова не сказал... Опоздала ты. Смешно

было смотреть, как он с ледяным видом процедил сквозь зубы: «Да. Читал. Очень неплохо». А чего другого ты ждала? Ведь эта книжка — последний крик моды, да? Статья Вернье была? Рамон про нее писал? Что же еще он мог тебе сказать?

— Ах, не в этом дело... Ты не понимаешь. Я надеялась, что завяжется разговор... Невыносимо было чувствовать, что все пути отрезаны...

Часами, без устали, изо всех сил стараясь сохранить улыбку на чуть напряженных лицах, они раздувают пламя внимания, они питают его всем, что у них есть, черпают из своих сокровищниц — полными охапками, полными горстями,— отдавая все свои богатства, все клады — не жалеть, не жадничать, все отдать! Но вдруг у одного из них пламя, едва заметно трепеща, сникает, гаснет, и тот, другой, который неустанно следит за этим пламенем, продолжает, будто ничего не случилось, веря, что пламя снова вспыхнет, зная, что его не оставят во тьме, не дадут ему заблудиться, без помощи пропасть во мраке, и, стараясь не сбиться, найти верный путь к этому пламени, он идет к нему, вслепую, смело, напрямик...

И пламя снова вспыхивает... вздрогнуло, заметалось и опять ожило — ведь это была только минута слабости, усталости, не бойтесь, вот оно снова горит. «Да-да, я вас слушаю, вы правы, я тоже так думаю... мне тоже очень-очень понравилось... вот только конец как будто... Нет? Вы не считаете? Должно быть, вы правы... Непременно перечитаю, подумаю...»

Тебя ломает, все тело ноет, но надо держаться во что бы то ни стало... смелей... еще усилие... ближе... вот...— и рука погружается во внутренний карман, вынимает репродукцию, протягивает ее... И вдруг — грубый отпор... Ледяной порыв ветра... Все гаснет... Черная ночь... Где вы? Отвечайте. Мы здесь, мы, оба. Слышите, я вас зову, ответьте же мне! Дайте знак, что вы еще здесь. Ау! — кричу я изо всех сил. «„Золотые плоды“ — вы меня слышите? Что вы о них думаете? Неплохо, правда?» И унылый голос, как эхо, отвечает: «„Золотые плоды“?.. Неплохо...»

Пустынные улицы. Стучат шаги. В домах темно. Но какое счастье, сама судьба, нежданная удача — то окно, *его* окно еще светится... Ну, жребий брошен... Парадное открывается, лампочка зажглась, две ступеньки, стеклянная дверь, лестница — взлететь сломя голову... нет, зачем?.. где это видано?.. Это только так говорится — сломя голову, но кто же так ходит? Вот как надо — спокойно, только не думать... ни о чем не думать... через две ступеньки, нет — ступенька за ступенькой... Палец тянется к звонку. Нажимает. Звонок. Вот оно... Шаги приближаются... Нет, не хочу, стойте... Но дверь открыта... Взять себя в руки, собраться...

— Ничего не пугайтесь, увидела свет, решила, что можно... Забыла перчатки... шарф... кажется, здесь...

Нет, поздно, отступать некуда. Да не толкайте меня, дайте хоть минуту собраться, решиться, ну вот, я разжала пальцы, наклонилась над пустотой, я отрываюсь, под ногами пропасть, лечу, лечу...

— Нет, не в том дело... Я вернулась, чтобы вас спросить... Вы будете смеяться... Это безумие... Но я хочу знать... Я страдаю, понимаете? Я хочу, чтобы вы со мной поговорили... Вот вы только что мне ответили: «„Золотые плоды"?.. Неплохо...» И мне показалось, что тон у вас... Умоляю вас, скажите, не отказывайте мне... Вы, только вы можете мне помочь... Для этого я и вернулась...

...В общей палате — растрепанные женщины, волосы — сухими космами, одни бьют себя в грудь, кривляются, хохочут, задирают юбки, показывая худые серые икры, вертят задом, другие стоят, вытянув руки, неподвижно, в кутерьме и шуме, словно изображая статуи в живых картинах — кататония, эпилепсия, истерия, смирительные рубашки, души, удары, свирепые надзиратели...

...Но это ничего, мне все равно, я не боюсь... Мне необходимо, чтобы вы мне сказали... Вы обиделись, правда? Скажите. Дайте мне ответ. Вы отшатнулись от нас? Вы подумали... Что вы подумали?.. Несомненно, вы подумали то же, что и я... Отвечайте же, это необходимо. Вы молчите. Ага, молчание — знак согласия... видите, я угадала... Вы подумали, что вас считают... Все вокруг пылает, обжигает тело, лицо... Но я должна схватить,

вытащить из костра, спасти... вот оно... дайте мне подойти... только протянуть руку... пустите... Вот я взяла, схватила... позвольте... Вы обиделись на нас за Курбэ, вы хотели отойти, сжечь все мосты... А когда я попыталась подойти, протянула к вам руки, когда я вас спросила о «Золотых плодах»... вы хотели нас оттолкнуть, показать, что уже поздно, что разрыв окончателен... Нет, не говорите ни слова, если неохота... Только подайте знак, большего я не прошу, только мигните, прищурьте глаз... И я буду спокойна. Мир. Я буду спасена. Мы будем спасены. Навеки. Вечное спасение. В нетленном свете. В небесах. Созерцая лик божий.

Ах, значит, ничего этого не было? Вы ничего не подумали? «„Золотые плоды"?.. Неплохо!» Вот все, что вы сказали. Больше ничего. Вот что вы мне бросили, вот чем я должна довольствоваться, вот что вы бросаете голодным, чтобы от них избавиться, вы, вы, такой богач, владелец стольких сокровищ. И вот все, что мне досталось: вы считаете, что «Золотые плоды» — это неплохо. Что же мне еще надо? Не станете же вы читать нам лекции, объяснять... Вот что вы мне выдали — мелкую денежку... как ее ни верти, ни разглядывай — непонятно, откуда она... Я таких не видела... Наверно, вы привезли эти монетки из дальних стран, но я там никогда не бывала... А тут они не в ходу, тут, где я живу,— и вы это знаете. Что же прикажете с ними делать? Берите их себе. Вот, возвращаю вам. Мне они ни к чему.



* * *

...Знакомые образы вновь обретенной родины... Они излучают нежность, от них веет покоем. К ним устремляется путник, возвращаясь из диких краев, узник, выпущенный на волю... вот они, все тут, на месте, приколоты к стене над письменным столом. Вот Верлен в пелерине, со стаканом абсента сидит на клеенчатом диванчике в старом кафе, вот Рембо с легким галстуком, развевающимся на ветру, Андре Жид — узкие щелки индейских глаз из-под широкополой мексиканской шляпы... И эта...

— Ага, вы ее прикололи... я тоже... не расстаюсь, всегда со мной... Восхитительно, правда? Я считаю — вы со мной согласны? — что Курбэ никогда ничего прекраснее не создавал...— Его пальцы, словно лаская, чертят в воздухе.— Особенно эта линия... Вся эта часть... Поразительно, вы не находите? Вообще для меня Курбэ, честно говоря...

Длинная узкая голова наклоняется. Что-то мелькает в лице... словно едва уловимая ирония... Во взгляде — удивление... Что с вами? Что это на вас нашло? Неужто

здесь, среди своих, еще надо как-то выражать... объяснять... Разве это не ясно само собой?

Верно, как это он забыл? Ведь они тут у себя дома, в родной стране, в стране цивилизованной, где уважают истинные ценности, воздают по заслугам, где царит справедливость, торжествует правое дело. Но как объяснить тому, кто никогда не сталкивался с произволом, с обскурантизмом, с варварством? Откуда ему понять, как он может даже предположить — и как посметь признаться ему в этом?

Так блудный сын, еще пахнущий сырыми углами, пропитанный запахами нищеты, застиранного белья, дешевой помады, липучих духов, алкоголя, наркотиков, блевотины, испытывает мучительный стыд, когда, подняв голову над тонкой, чуть благоухающей духами рукой, он видит серебряные локоны матери, ее все еще стройную шею, стыдливо охваченную бархоткой, и встречает доверчивый взгляд ее глаз.

— Если бы вы знали, какое наслаждение быть подле вас, здесь, до чего я счастлив, что вы тут... Вам трудно понять... для вас это непонятно... с вами такое никогда не случалось... Знаю, так бывает только со мной. Помните, мы как-то об этом говорили, а может быть, я только собирался вам рассказать? Есть люди, с которыми нельзя встречаться, их надо избегать, они — яд, от них остается оскомина... Даже наутро отвратительное состояние. Будто смотрел скверную пьесу, скверный фильм... Знаете, как после дурного ужина... язык обложен... Они тебя пачкают... Унизительно...

«Скажите, а «Золотые плоды» вам нравятся?..» На длинной, худой шее — маленькая головка, гладкое, чуть старообразное лицо примерной девочки... приторная бесполая физиономия ханжи... «А «Золотые плоды» вам нравятся?» Голос — как тонкий гибкий зонд, она вводит его осторожно, деликатно... Еще немного — и она засюсюкает, как с младенцем. Я, мол, все понимаю, знаю, как к нему подойти... Все выискала, вынюхала... О, я все знаю, все... Знаю, что кому подходит... Вот что нужно ему подсунуть. Смотри, я ему подношу вот это... увидишь, тут он не будет сопротивляться... Ты его спуг-

нул, и зря, но я все улажу... «Золотые плоды» — вот то, что ему надо, это точно.

— Есть люди, которых ниночем нельзя подпускать к себе. Паразиты, которые сжирают в тебе самое сокровенное. Одолевают тебя, как микробы... Конечно, я уверен, что вы никогда... Вы бежите от них, как от чумы... Что я говорю — бежите! Для вас они просто не существуют...

— Да, разумеется, я избегаю неприятных мне людей насколько возможно, я не люблю тратить на них время...

— Знаю, знаю, я так часто наблюдал за вами. В вас живет инстинкт самосохранения... Завидую. Восхищаюсь вами — вы так умеете избегать лишних контактов, так держитесь в стороне.

— Но кто же и вам мешает? — Уже в снисходительном взгляде суровость, на тонкой переносице — морщинки, легкое отвращение на лице: — Зачем вы с ними связываетесь?

— Ах, зачем... Вот именно — зачем? Да, зачем?

Но разве есть такой декрет, такой закон, разве есть распоряжение свыше, которое дает ему право отказываться от встреч с этими милейшими людьми, с людьми такой культуры, такими достойными, интеллигентными? Что они сделали, чем настолько нарушили правила, законы, обычаи, что к ним надо применять такие жестокие меры, лишать их всех человеческих прав?.. Отвечайте! Что они вам сделали? Какие у вас основания? Какие улики? Никаких, верно? Тут уж только ваша утонченность, ваша сверхчувствительность. Вы даете волю каким-то своим неуловимым впечатлениям. Ни один нормальный человек этого не почувствует, никто вас не поймет. Но вы так углубляетесь в свои переживания, так нянчитесь с ними. Да, конечно, вы такой утонченный, такой деликатный... Нет, пожалуйста, не думайте обо мне плохо, не осуждайте меня. Уверяю вас — я себе ничего не позволяю. Абсолютно ничего. Никакой небрежности, никакой бесцеремонности, ручаюсь вам. Я прекрасно знаю свои обязанности, свой

долг... Ах, как я тронут... какая радость, как мило с вашей стороны... давно не виделись... Прелестные люди... такие простые, открытые, такие доверчивые, у него в гостях. Под его крышей... Они ему вверили эти минуты, эти драгоценнейшие, священные моменты своей жизни. Он сделает все, что может, он будет достоин их доверия, можно на него рассчитывать. Он принимает эту честь... поклон... разрешите взять ваши пальто... Вам не жарко? Ах, прохладно? Погодите, сейчас, вот сюда, к камину, садитесь, пожалуйста, нет-нет, сюда, тут вам будет удобнее... кресло, подушки, портвейн, виски... Они немного стесняются... как-то сжались... кажется, их что-то переполняет и они стараются сдержаться, не дать себе воли... Что же это? Подозрительность? Враждебность? Что-то есть в нем самом, от него что-то исходит, проникает в них, и там что-то прорастает, растет. Ему хочется отвернуться, опустить глаза... Смешно, нет, просто глупо: как тот герой — откуда это? — который всегда опускал глаза, чтобы не ослепить людей светочем своего ума... какая чепуха... Смотрите — нет ничего, нет во мне ничего такого, что мешало бы посмотреть вам прямо в глаза. Видите — я гляжу на вас, мы равны, мы равны, мы абсолютно одинаковые, вы это знаете... Вы и чувствуете, как я, вы все понимаете, как я, а может быть, и лучше меня... Зачем же мне ломать комедию? Зачем вас обманывать? Какое я имею право скрывать от вас... Что же в вас таится, что может помешать мне поделиться с вами тем, чем я делюсь со всеми? Для вас, как для всех моих друзей, я поищу, я выищу для вас из всего, что знаю, из всего, что вижу... выжму, высосу... все для вас... погодите... сейчас я вам покажу...

Рука погружается во внутренний карман пиджака. Внимание... Но инстинкт самосохранения вспыхивает, удерживает его руку. Стоп. Осторожно. Не делай глупостей. Это чужие, это враги, они насторожились, словно чувствуют невидимую угрозу, незримую опасность... Ни в коем случае нельзя рисковать, не то вызовешь... Что вызовешь? Бред, фантазия, искушение. Изыди, сатана. Власяница, вериги, осенить себя крестом, преклонить колена, избави нас от лукавого... Вот... Молитва услышана. Он очистился, он безгрешен. Смиренно, покорно он подчиняется, он выполнит послух.

Рука подчиняется... она опускается во внутренний карман. Достает... так и надо... так и полагается, ведь ты принимаешь у себя милейших друзей... их все так интересует...

— Этот Курбэ... Не знаю, видели ли вы его? Изумительно, правда?

Ни малейшего признака интереса. Чужая рука берет открытку двумя пальцами и передает ее. Молчание. Да, вот именно. Молчание. Ни слова. Взял репродукцию и передал ее, не сказав ни слова. Но что ж тут такого, скажите на милость? Где же тут презрение, сдержанность? Какая тут скрытая издевка? Перестань выдумывать, слышишь? Ты опять за свое? Простой человек, понимаешь, обыкновенный честный малый, знающий цену таким вещам, взял у тебя из рук репродукцию — ты сам ему подал — и, взглянув на нее... Нет, он почти и не взглянул... Хорошо. Пускай. Вероятно, он ее знает. Человек он тонкий, культурный. Ничего не сказал? Но ведь молчание — знак согласия. Промолчал из уважения. Из скромности. Считает свое мнение несущественным. Думает, никому оно не интересно. Это делает ему честь. Он человек прямой. Он из тех простых, искренних людей, которые не любят пустых фраз, притворства...

Простой. Скромный. Искренний. Полный уважения. Молчание — знак согласия. Хорошо. Пусть будет так, сдаюсь. У меня галлюцинации. Опасные симптомы мании преследования. Хорошо, больше не буду, даже когда это бьет в глаза. Даже когда это вопиющая явь, даже когда она наклоняется над репродукцией, словно подавленная, когда она пищит от восторга, а он на нее смотрит с изумлением,— хорошо, я ничего не думаю, никакого сговора между ними нет, никаких тайных знаков они не подают, ничем они не показывают, что мы бесконечно далеки друг от друга, что они откуда-то издалека видят меня, всего, целиком, заключенного в их поле зрения. Нет, не то. Они тут рядом. Так близко, что видят меня не всего целиком, им виден только я, таким, каким я себя им сейчас показываю, крупным планом,— ясным, доверчивым, чистосердечным взглядом я смотрю на них — глаза в глаза.

— Зачем я с ними встречаюсь? Сам не знаю. От глупости, наверно, от безволия. Конечно, это дико... не знаю, как вам объяснить... Во мне есть нелепое чувство равенства. Я принимаю их на веру. Говорю с ними о том, что мне ближе всего... Пытаюсь затронуть их лучшие чувства... Мне всегда кажется, что я сумею их убедить... Что надо лишь показать... кому угодно... Вот, взгляните, какое чудо. Этот Курбэ...

— А «Золотые плоды» вам нравятся?.. — Тонкий, сладкий голосок так вкрадчиво, осторожно пытается проникнуть... Именно то, что ему нужно... вот увидите... я-то знаю, как к нему подойти... Настороженный, ищущий взгляд... Что ж, она не ошиблась, пусть все видят, пусть слышат, сейчас крикну во весь голос: «Да, нравятся! Слышите, нравятся!..» Стоп. Смирно. Ни с места. На караул! Да, нравятся. И никаких объяснений. Я такой. Смотрите — вот я какой, видали? Да, мне нравятся «Золотые плоды», как вы уже догадались. Все. Точка. И я вам запрещаю приставать ко мне. А теперь — вон отсюда! Подите прочь! Насмотрелся я на вас, кончились мои причуды. Позабавился, дал вам приблизиться, захотелось снизойти до вас. А теперь — марш на место, в людскую, в подвал. Здесь господские покои.

— Фу, не стоит о них думать, довольно. Ну их к черту! Все. Мне сейчас на них наплевать. Забыл. Мне тут так хорошо, все свои... Лучше скажите мне, я давно хотел спросить... по правде сказать, я книгу не читал, времени не было, только пролистал... хотелось бы от вас узнать: эти «Золотые плоды» — что вы о них думаете?

— Изумительная книга. Кстати, я сейчас о ней пишу... Задумал статью... И-зу-ми-тель-но...

Какой-то привкус в этом слове, чем-то оно не вяжется с этим человеком — у него такое хорошее, усталое лицо, у этого старого друга, такие добрые, выцветшие глаза, а в этом слове есть что-то высокопарное, грубо-самодовольное, немного смешное... Он смешон... Слышишь?.. Они подслушивают за дверью, они тут, настороже... И-зу-ми-тель-но... Слово отдается в них, отскакивает назад, ко мне, усиленное, искаженное. Изззу-ми-ии-тель-но!.. Они толкают друг дружку под

локоть, гогочут... ишь, как он самоуверен... какой тон... не терпит возражений... приказ отдан. Главнокомандующий принял решение. А тот, наш, сразу... Что я тебе говорила? Знаю я его! Вот увидишь...

Нет, нет и нет. Ничего вам не увидеть. Я свободен, слышите? Абсолютно свободен. Независим. Меня не проведешь. Никто мне ничего не навяжет...

— Неужели? А вот для меня эти «Золотые плоды»... Что-то я в них не верю... Столько разговоров... Лемэ в восторге... Это настораживает.

Не боюсь я этого взгляда сквозь прищуренные веки, хоть он и вонзается мне прямо в глаза. Я отворачиваюсь, я подхожу — смотрите все! — прямо к столу, где на крупно исписанных листах лежит эта книга. Я ее открываю... И как останавливают рукой зазвеневший стакан, так я устанавливаю в себе тишину... Пусть все замрет, застынет. Я ухожу в себя, во мне — уравновешенность, утяжеленность, почти инертность. Уверяю вас, меня не так просто заставить вздрогнуть, заставить сдвинуться с места — тут нужен сильный ток. Но ничего — сознаюсь,— ничего не вызывают во мне эти глянцевитые, жесткие, накрахмаленные, замороженные фразы... Ничего... Совершенно ничего... И мне становится спокойней, сам не знаю почему. Я чувствую какое-то облегчение... Оттого ли, что я становлюсь ближе к вам, перехожу на вашу сторону, ощущаю свое сходство с вами,— от этого ли мне стало легче? Рад, что могу вам сказать: ничего не чувствую, ни малейшей вибрации, видите, как я честен, как откровенен. Да, я свободен, я силен, я честный, искренний. Свободен... свободен до конца... честен...

...Но что это?.. Вот... честное слово... Как будто прошло дуновение?.. Нет, я должен... откровенно... нельзя отрицать... должен признаться... я что-то почувствовал... невольно... слышу какой-то необъяснимый звук... неуловимый звон... волны — от слова к слову, от фразы к фразе — расходятся, а в ответ какой-то отзвук, я его слышу... ничего не поделаешь — слышу... Да, вам, конечно, его не услыхать, для вас надо бить в барабаны, орать. А мне, чтобы ничего не слышать, надо затыкать уши... И вот уже слова мне кажутся весомыми, хочется их удержать, взвесить, раскрыть, исследовать на досуге...

уверен, что я в них найду... знаете, чем человек умнее...[1] Да отойдите же! Вы мне мешаете!.. Столпились тут, шумите... При вас я ничего не слышу, все звуки сливаются, при вас мне кажется, что в комнате — скверная акустика... вам же сказано — уходите! Вы — вязкие, волглые, вялые. Ваше присутствие, ваша близость пачкают... Тут, среди нас, вам места нет...

— Да, как видно, это чудесная книга, вы правы. Непременно прочту. Каждую фразу надо смаковать. Брейе — настоящий писатель. Это бесспорно. И некоторым неучам будет полезно услышать это именно от вас.

Что, слышали! Вы, там! Вас заставят восхищаться, вас припрут признанием, загонят, как стадо овец, под охрану псов!

— Да, все эти люди разыгрывают знатоков... Тупицы... Не понимаю Бодлера — что он в них находил[2]... А я... при одной мысли, что они есть на свете, я страдаю... Бывают минуты, когда хочется всех их уничтожить.

— Чудак вы... Берите пример с меня. Не обращайте на них внимания. Больше уверенности. Правда и красота всегда побеждают, даю вам слово. Надо только спокойно делать свое дело. Потихоньку идти своим путем.

— Знаю, это глупо, вы, несомненно, правы. Ну, мне пора. Простите, если помешал. Но вы понимаете, есть минуты, когда я становлюсь эгоистом, и тут уж ничего не поделаешь — мне необходимо вас видеть.

---

[1] Слова Паскаля: «Чем человек умнее, тем больше оригинальных умов он видит вокруг себя».

[2] Бодлер писал в дневнике, что для умного человека нет большего наслаждения, чем общение с тупицами.

* * *

Защитная завеса жестов, слов... «Нет, нет, вовсе нет... не извиняйтесь, нет, нет... напротив, заходите... И не принимайте так близко к сердцу! — Ласковое похлопывание по плечу, добродушный смешок.— Перестаньте встречаться со всеми этими людьми... ну, желаю удачи, хорошей работы, до встречи, да-да, вечерком... с удовольствием...» — И за тонкой дымовой завесой все, что в нем исчезло с приходом незваного гостя, все, что рассыпалось, но втайне ждало, все это снова собирается, складывается, приходит в порядок. И только закрылась дверь — без шума, как можно тише, осторожнее... так, что тот услышит только приглушенное короткое хлопанье, но этот легкий щелчок грубо сбросит его в небытие, заставит растаять, распасться — ни следа от него не останется... Даже запечатлевшийся на миг образ — длинная темная фигура спускается по лестнице — и тот исчез без следа. Не осталось ничего — даже чувства облегчения. Не надо ничего ставить на место, вытирать, не надо никаких исправлений. Не осталось ни царапины, ни пятнышка, ни пылинки на гладком, блестящем механизме: старая машина, великолепно сконструированная, прочная, неуязвимая, отлично вычищенная и смазанная, приходит в движение, начинает идти полным ходом.

И, садясь к столу, он знает, что теперь часы потекут медленно и послушно, они пройдут перед ним вдаль, в тишину, в одиночество ночи, они вольются в него, они его наполнят ощущением свободы, силы, незыблемости — предчувствием вечности. Разбросаны листы бумаги, рядом — раскрытая книга. «Изумительно» — так он сказал. Значит, так и надо написать: это изумительная книга.

Как огромные цветы, искусно разбросанные на тщательно подстриженном, густом и шелковистом газоне, раскрывают свои плотные жестковатые лепестки, так со страницы, взятой наугад, из фразы, плавной и сжатой, тяжелый и громоздкий imparfait du subjonctif [1] с царст-

[1] Сложная, устаревшая грамматическая форма.

венной уверенностью разворачивает свое длиннейшее, неуклюжее окончание.

Нет, скорее этот subjonctif, чье неподатливое, утяжеленное окончание так легко поднято четким и гибким ритмом всей фразы,— он скорее похож на расшитый шлейф тяжелого парчового платья,— шлейф отброшен нервной ножкой, изящная напудренная голова церемонно наклоняется и вскидывается вновь с высокомерной учтивостью. И на этот реверанс каждый благородный кавалер сразу отвечает глубоким и низким поклоном.

Тяжеловесные, немного смешные старинные моды попадают в руки искуснейшего модельера, и он, очистив их от всего наносного, обнажив их сущность, умело располагая линии, придает современной моде печальную прелесть воспоминания, юную и древнюю, как мир.

В это грамматическое чудовище, в его несколько смешной, неуклюжий хвостовой придаток проникают тончайшие разветвления нашей мысли, они проходят, как нервные волокна, в грозное острие скорпионова хвоста — и вот уже выскакивает чуткое жало, вытягивается, пружинит и молниеносно впивается во что-то бесконечно хрупкое, почти неощутимое — в какой-то зачаток смысла, в едва уловимый замысел.

Как бы критики ни хвалили это произведение, все будет мало: со всей строгостью, со всей настойчивостью они должны перед каждым писателем поставить как образец этот литературный язык — настолько в нем все просеяно, отобрано, рафинировано, очищено, ограничено строгой, упругой, но все же несколько жестковатой формой, в которой отливается и застывает то, что должно сохраниться во времени.

Тут само собой отбрасывается, нипочем не пропускается все расплывчатое, вялое, слюнявое, скользкое. Все то, что разговорная речь подхватывает и разносит мутным потоком.

Тут вас не встретят резким смехом, лихорадочным взглядом, пожатием потных рук. Никто не хватает вас за лацканы пиджака, никто не дышит вам в лицо тяжелым жарким дыханием.

Тут каждый знает свое место. Тут вы в своем кругу, в хорошем обществе. С какой сдержанной благовоспитанностью, с какой изысканной вежливостью вас приглашают войти. С каким целомудрием, с каким гордым достоинством ищут вашего внимания. Полно, да ищут ли его? Просто перед вами в чистейшей радости пляски кто-то танцует соло. Каждое предельно точное движение, каждый освященный вековыми традициями жест насыщен скрытым смыслом: тысячелетний образ восславляет великие тайны — любовь, смерть.

Изумительно. Это надо сказать. Надо крикнуть. Но прежде чем начать — пауза. Пальцы с пером подняты кверху, локоть опирается о стол: «Я считаю — и пишу об этом, взвешивая каждое слово,— что «Золотые плоды» — воплощение...»

...Чистейший образец высокого искусства — вещь, замкнутая в себе, наполненная, округлая, гладкая. Ни трещины, ни царапины, куда могло бы проникнуть что-то постороннее. Ничто не нарушает цельность превосходно отшлифованной поверхности, сверкающей всеми гранями в светлых лучах Красоты.

И под этим теплым сиянием в нем начинает играть кровь, смело взлетают слова... «Изумительно»... Выше: «Редчайшее произведение искусства»... Выше: «В современной литературе еще не было такого произведения». Выше, еще выше... Горные вершины встают вдали... «Лучшая вещь, написанная после Стендаля... После Бенжамена Констана...»

* * *

— Отличная статья Брюлэ о «Золотых плодах». Первоклассно. Превосходно.

Бесстрастный голос, холодная констатация. Лицо неподвижно, взор устремлен вперед, как жерло орудия, нацеленное солдатом, который, застыв на броневике, проезжает по улицам завоеванного города.

Нечего смотреть по сторонам: всякое сопротивление сломлено. Кто посмеет шевельнуться? Эй вы, бунтари, сорвиголовы, что, хотели все смести с лица земли? Плясали по засеянным полям, топтали посевы в дикой пляске, орали во все горло — знайте, кончился ваш праздник. Победили вековые устои. Честные люди могут вздохнуть спокойно. Да, теперь можно сказать — немало пережито. Все было захвачено ревущей ордой, всюду грязный плебс, он крошил святые образа, осквернял священные храмы. Любой варвар — бог весть откуда — выкрикивал бессмысленные речи. И все это приходилось молча терпеть. Видеть изо дня в день, как самые верные, самые стойкие друзья подло перебегали на сторону победителей. Смрад и пот. Вульгарные, хриплые выкрики. Гнусная брань. Все приходилось терпеть. Смотреть беспомощно на эту развинченность, распущенность, на темные заросли, кишмя кишевшие нечистью, — бесформенная магма, темный хаос, ночи, пронзенные зловещими вспышками огня...



И вдруг — о чудо! Эта вещь — маленькая, скромная, безобидная. Девственница в одежде пастушки. И одним махом сметены

все силы зла. Наконец воцарился порядок. Мы спасены. Теперь им покажут, этим лентяям, неучам, этим «детям природы», «сильным личностям», теперь их научат идти в строю. Уважать правила хорошего тона, приличного поведения. Им внушат — ага, вам это не по душе? — что литература — святыня, недоступная обитель, что только смиренным послушничеством, терпеливым постижением великих мастеров немногие избранники завоевывают право войти в нее... А шулерам, выскочкам, втирушам в ней места нет.

Со всех сторон стекаются толпы — принести присягу верности, преданности вновь установленному порядку, отдать ему поклон.

Вот они, высокие учреждения. Правительство. Члены обеих палат. Все пять академий. Высшие школы. Университеты.

— После Ларошфуко, после мадам де Лафайетт, да, я скажу во всеуслышание, после Стендаля — Брюлэ прав,— после Бенжамена Констана... Скажем, я — ведь я романов вообще не читаю...— Длинный палец задумчиво потирает тонкое морщинистое веко.— Времени нет... дни так коротки... а вечерами надо как-то входить в курс... сейчас все так быстро меняется... надо читать последние труды... И когда выдастся свободный часок, я не вправе растрачивать его впустую... предпочитаю возвращаться к классикам, к любимым писателям... Но тут, должен сознаться, в этих «Золотых плодах» я обрел редчайшую радость, я и не думал, что современное произведение может так захватить... Изумительно... Настоящая жемчужина...— Рука любовно гладит воображаемую округлость...— Прелестная вещица. Замкнутая. Плавная. Полновесная. Ни одного промаха, ни одной погрешности против хорошего вкуса. Тут этого не найти. Ни одной ошибки в построении. И такая утонченность, правда? Кажется, так просто, но какая изысканность. Настоящее чудо, и это в наши времена!..

Да что они, с ума сошли? Ей хочется вскочить, остановить их... Да как они смеют? Неужто они забыли, что он тут, что он слушает, уйдя в себя... и с каждым словом, которое они произносят таким бесцеремонным то-

ном, в нем — и она это чувствует (нет ни одного движения его души, которое не передалось бы ей), — в нем что-то накапливается, тяжелеет... Она не сводит глаз с его пальцев — холеные ногти нетерпеливо постукивают по столу... Ей хотелось бы стать мизинцем на этой руке, которая когда-то первая перелистала... нет, не верится... так давно это было... до ее рождения. Она хотела бы стать морщинкой у его глаз, уставших от пристального созерцания стольких полотен, статуй, стольких рукописных страниц, подписанных незнакомыми именами, страниц, в которых она (посметь ли ей признаться?), она, невежественная, нечуткая, видела только безобразное месиво, унылое нагромождение и в которых он, будто в нем чудом затрепетала игла компаса, мог показать восхищенным поклонникам, молча ждущим, когда приоткроются нехотя губы и прозвучит короткое суждение, — показать одним мановением руки, одним взглядом нацеленных в нужную точку глаз: «Вот смотрите... вы видите... вот тут...» И тебя словно током пронзает, перед тобой встает и трепещет что-то живое, упругое... «О-о, смотрите, как хорошо... превосходно... Как, вы сказали, ее зовут, вашу молодую приятельницу?»

Исполнились все смутные предчувствия... Те минуты счастья, когда еще в шесть, в семь лет она, лежа на траве на берегу ручья, смотрела, как тополя окружают высокое небо дрожащими листьями... Неужто это правда? Это он обо мне? Про мои стихи? Неужели он так сказал... Она уже давно перестала ждать, отказалась... и с ней случилось чудо... крыло архангела благой вестью коснулось ее склоненной головы... Будет ли она достойна?.. Хватит ли сил?.. Учитель... сейчас... она опускает голову... простите их. Ибо не ведают... простите этих варваров, этих невежд, которые тужатся, лезут из кожи вон, да как они смеют, безумцы, кто дал им право при вас судить с такой безапелляционностью... Им, этим пешкам, нулям, безымянным выходцам из толпы, которой только и пристало в молчании проходить по священным покоям, полным реликвий, — это вы научили их почитать святыни, это вы открыли им глаза, пробудили в них священный трепет, а теперь они смеют, забыв свое место, выскакивать, разглагольствовать — при

вас!.. Тише! Перестаньте! Кому интересно ваше мнение? Замолчите. Учитель, мы хотим слушать вас.

Она едва удерживается, чтобы не склониться к его руке, нетерпеливо постукивающей по столу, к его колену, подрагивающему в раздражении... она поднимает на него взгляд... мы ничтожества... бедные невежды... мы блуждаем в ночи, вязнем в трясине... спасите, вызволите нас, заклинаю... она смотрит на него молящими глазами: «Почему вы молчите?.. Скажите нам... Что вы думаете об этом романе?»

Он коротко фыркает сквозь сжатые ноздри, отделяя себя ото всех, отстраняя их... гн... гн... «Но, милый друг, вы ко мне обращаетесь, словно я оракул...— В подергивании щеки — презрение, даже легкое отвращение.— Я и сам не знаю...» — «О нет, нет, вы знаете, знаете...» Он снисходительно усмехается, его умилостивили, почти растрогали... «Да? Неужели? — И медленно, словно нехотя, по принуждению: — Мне кажется, что я склоняюсь к мнению доктора Легри... Прекрасный роман эти «Золотые плоды». Хотя, быть может, и не по композиции. Тут я лично вижу некоторые недостатки. Да и не в том, как подчеркивает Брюлэ, достоинство книги, что она написана отличным классическим языком. Теперь его превосходно умеют подделывать. Все начинающие этим грешат. Нет... дело не в языке... Кстати, я вовсе не нахожу, что он так уж классичен. То есть классичен в том смысле слова, как его обычно употребляют. Наоборот, тут много запутанности, баро́чности, он тяжеловат, даже иногда неуклюж. Кстати, мы склонны забывать, что классики, когда они были новаторами, тоже казались запутанными, неуклюжими. Это трудная книга. Я брался за нее несколько раз. И мне она нравится именно своей современностью. Превосходно отражает дух нашего времени. А ведь именно это, если я не ошибаюсь, и отличает настоящее произведение искусства...»

А этой хочется просить пощады, снисхождения к своим старым мышцам, старым костям. У нее мелькнула надежда, она почувствовала облегчение, увидев, что он сидит в стороне — у него так часто бывает этот надутый, недовольный, немного раздраженный, презрительный вид,— в такие минуты ее всегда тянет к нему

как зачарованную, ей хочется покрасоваться перед ним, оголиться — одна эта мысль ее вгоняет в краску, как она смеет? — выдать себя, сказать ему: «Да, вам я могу признаться, Люсьен, вам как старому другу... Знаю, вы меня не выдадите, не станете презирать... Вам я доверяюсь... вам сознаюсь... Эти «Золотые плоды»... о них столько разговоров... ничего не могу поделать... десятки раз бралась за них... Это так жестко, так холодно. Думаешь укусить сочную мякоть и ломаешь зубы о металл»...

А он — ни слова, только посмотрел на нее... и в его глазах, в его улыбке как будто мелькнуло сочувствие... Между ними — и она это почувствовала, она это знает — возникло что-то вроде заговора, какая-то близость — ее отраженное восхищение, неизменное преклонение,— и он откликнулся... да, она знает, что иногда она его забавляет, что ее болтовня развлекает его подчас,— и ее обожание, ее постоянство, он их видит, милый Люсьен...

И вот ему бросили вызов. Его вытащили из уединения, заставили играть роль, которая ему положена по чину. Облачиться в красную мантию с горностаевой оторочкой, надеть черную судейскую шапочку и произнести перед стоящей в молчании публикой роковой приговор. И он произносит его со всей ответственностью. Каждое слово взвешено. Приговор окончательный: «„Золотые плоды" — отличная книга».

Что ж, надо подчиниться. Пробил час поста и молитвы. Надо оторваться от всего, что любила... от сокровенного тепла, когда, свернувшись клубочком, она плыла по течению все дальше, дальше, бог знает в какой сладостной неге, в приторных, стыдных, восхитительных ароматах... Все это надо забыть. Вот так. Прямая, чистая, она идет вперед.

Что-то серое, холодное расстилается перед ней... Гробницы, своды, склепы, музеи, где тусклый свет падает на плиты пола, на разбитые колонны, на мраморные саркофаги, на статуи в царственных, иерархических позах, с незрячими глазами, с застывшими лицами. Ей хочется отпрянуть, убежать, вернуться туда, в мягкое тепло, к другим, к своим ближним, к себе подобным, они тянут ее, зовут... Да пустите же меня... она обора-

чивается, гнев ее душит... отпустите, не цепляйтесь, уходите, у меня нет ничего общего с вами, мне отвратительны ваши пылающие лица, ваши голодные глаза, непристойные жесты цепких рук — они все хватают, щупают, ноздри жадно раздуваются, втягивая мутные тошнотворные запахи гнили. Отойдите прочь, я вхожу. Видите, вот я. Одинока. Чиста. В молчании, в уединении, издалека я почтительно созерцаю.

И вдруг из мертвой серой мути, от каменных фигур, высящихся в неясном свете, что-то подымается, постепенно, тихо... Словно повеяло теплым дыханием, знакомым, близким, ободряющим дуновением... она его узнает... она так часто его вдыхала, вбирала... Это дуновение шло к ней со страниц журналов, от модных картинок... от портретов герцогинь, принцесс, королевских особ... оно исходило от их замкнутых лиц, где никогда волнение не искажало неподвижные черты, словно рожденные для увековечения. От их глаз, где никогда не возникал влажный маслянистый отблеск мысли, от их надменных лбов, увенчанных сверкающими диадемами в рубинах, изумрудах, алмазах... Теплая волна охватывает ее, неуловимая дрожь, восхитительный трепет смирения, преклонения перед этими признаками — они безошибочны, она их сразу узнает,— признаками высшего аристократизма, изысканнейшей элегантности — верной приметы благородного происхождения, породы... Ожившая, возбужденная, сияющая, она тянется к нему:

— Ах, как вы меня порадовали. Да, вы правы... Это шедевр... Совершенно верно. Что ж, должна признаться, вначале мне было трудно... сразу не проникнуть... Но зато потом — какая награда! Изумительная книга. Разумеется, те, кто в ней ищет психологию, переживания, для тех, кто хочет узнать себя, кто везде ищет отражение своих чувств, тем, конечно, книга ничего не дает. Так им и надо. Но для меня... Ах, как мне приятно, милый Люсьен, что и вам нравится эта чудесная книга!

Ей бы только авторитетное мнение. Больше ничего. Никакой непосредственности, никаких естественных чувств. Стоит только взглянуть на нее — и надо же было с ней встретиться, вот уж не повезло,— ходит за ним по

пятам, в церкви, в музеи, боится высказаться, подходит к нему, смущается, неуверенно шепчет: «Но, кажется, это копия, правда?»

Да, копия, ему хочется крикнуть ей в лицо: «Да, копия. Осторожно. Опасный поворот. Все эти «Золотые плоды» — подделка, имитация. Вы ошиблись. Вы еще пожалеете...» — и увидеть, как она вздрогнет, отскочит, поджав хвост, отбежит, испуганно озираясь.

Но на этот раз она держится крепко. Выбрала себе место — ее оттуда не сдвинешь. Но разве устоишь, чтобы ее не подтолкнуть, не сдвинуть хоть немного... подвиньтесь же, надо и другим дать место...

И мне тоже... пустите-ка... ну, пошевеливайтесь же, дайте и мне усесться как следует. Втиснулся, жадно вытянул губы, нацелил богохульные руки — нет для него ничего священного... Ну-ка, дайте посмотреть поближе, разрешите? Не возражаете? Можно потрогать?

— Видите ли... для меня лично... Когда я читал эту книжечку, я себя спрашивал — вообще-то говоря, вещь премилая,— но я себя все-таки спрашивал: черт возьми, как же она сделана, в конце концов, эта штука?

Он откидывается назад, складывает руки на животе. Взгляд устремлен вдаль, он сосредоточился... не будем торопиться, спешить нам некуда... он любит присмотреться, подумать... Старый знаток, старый ценитель искусства... не терпит, чтобы ему навязывали мнение... он чувствует их почтительные взгляды.

— Как вам сказать? Да, разумеется, тут не найти никаких «глубинностей», где кишмя кишат какие-то нерожденные существа... Нет этого копания в болоте, откуда подымаются зловонные миазмы, в гнилых трясинах, куда тебя постепенно засасывает. Нет, нет — в «Золотых плодах» ничего такого не найти. Зато в них есть то, что отличает великие романы. По-моему, искусство большого писателя состоит именно в том, чтобы подняться выше этих тошнотворных топей, выше разложения, выше всех этих «непостижимых глубин», как их называют... если только они и вправду существуют, в чем я сильно сомневаюсь. Откровенно говоря, я в них не верю... впрочем, не будем оспаривать... Так вот, изволите ли видеть, искусство именно в том и состоит, чтобы осушить эти трясины, создать твердую почву, на

которой можно выстроить, сконструировать произведение искусства. Для меня великий роман похож на Санкт-Петербург, выросший на болотах, на Венецию, отвоеванную у хлябей морских ценой бог знает каких гигантских усилий...

Он прикрывает веки, умолкает... Благолепие городов — сверкающие купола, певучесть площадей, простор жилищ, изящные колонны, дворцы в тончайшей росписи, мирные улочки, мощенные уютным старым камнем... Там он всегда бродил... там жил он с самого рождения, там протекла его жизнь... его истинная жизнь... И там воздвигнут новый памятник... в полной гармонии со всем... нет, новое жилище в его вкусе, ему под стать, под стать каждому человеку... в нем он как дома...

Он открывает глаза, смотрит в окружившие его внимательные лица... Он наклоняется к ней:

— Да, мой друг, «Золотые плоды»... Думаю, что и наш дорогой мэтр со мной согласится... Почему эта книга — настоящее произведение искусства? Прежде всего потому, что она правдива. В ней есть удивительная точность. Она реальнее самой жизни. Все организовано. Упорядочено. Умело построено. Изумительные пропорции. Гибкий, сильный слог — он как те воспетые Валери колонны — «Дочери златых сечений»,— он поддерживает, он несет правдивые, высокие чувства... чувства всех нормальных, душевно здоровых людей, а не кучки неврастеников, психопатов, нет, это высокие личные чувства — мои, ваши чувства, дорогая моя... возьму хотя бы для примера эту удивительную сцену... я выбираю почти наугад, там много таких... сцену, которую я могу сравнить только со сценой в гостиной у Реналей между мадам Реналь и Жюльеном...[1] И тут такая же сила, точность... то же изящество, та же чистота и законченность линий... несколько слов — и в них все сказано... При вас рождается любовь... Помните... эта сцена на террасе, у озера, в Муши́, когда Эстелла вздрагивает, а Робер... или Жильбер... не помню. Да, да, Жильбер встает и, не говоря ни слова, приносит ей шаль. И в этом простом жесте — но надо видеть, *как* это написано! — в нем сказано все. Всем нашим писакам, всем этим лю-

---

[1] Герои романа Стендаля «Красное и черное».

бителям рассусоливать, шлепать по лужам, им не достичь этого вовек, испиши они хоть целые страницы... а тут незаметно... какой-то паузой... чем-то невесомым... тончайшими оттенками, радугой, переливами красок, возникающими от неуловимого сродства слов... Никакого анализа. Все сделано ни на чем... Но читатель понимает, чувствует. Поверьте, именно такая правда, такие моменты, такие озарения и создают великие книги.

Вот оно. То, что они всегда ищут, жадно ощупывая все, что попадается под руку, все, что им предлагается, что изготовлено специально им на потребу,— фильмы, романы, биографии, мемуары, трогательные признания их униженных сестер-страдалиц и советы их великих сестер — тех, что счастливей их и сильнее, победительниц... триумфаторш... Они собирают клочки, уносят, чтобы разглядеть на досуге, им неловко, стыдно, они не знают, можно ли...

Но на этот раз... они подымают головы, в глазах — затаенная алчность... прочь все сомнения, страхи... тут все гарантировано — первый сорт, в самом лучшем вкусе, самые утонченные гурманы это ищут. Отсюда можно брать что угодно, за это их все одобрят, признают их изысканный вкус, тут есть то, что им надо...

Огромное озеро, туманные берега в плюмаже деревьев... как у Ватто, у Фрагонара... рябь волны в лунном свете. Тихий плеск воды у мраморных ступеней. На террасе, у невысокой старинной балюстрады, темные тени сидящих людей, над ними — фигура мужчины, он наклоняется и окутывает белой шалью с помпонами стройную шею под собранными кверху волосами, тонкие обнаженные плечи. Головка с высокой прической слегка отклоняется назад, шея изгибается, плечи чуть заметно вздрагивают, приподнимаются — и в этом движении признание, нежная уступчивость, благодарность, полная покорность...

Ее словно током пронзает, ее разрывает боль... К чему она прикоснулась? За что неосторожно схватилась? То движение руки, расправляющей пальто на спинке сиденья в открытой машине, за тонкими податливыми плечами... Голова отклоняется назад, затылок

прижимается к мягким складкам... нежность, молчаливая покорность таятся в этом жесте, скрытая дрожь... вибрирует, передается ей: при ней, у нее на глазах, свершается тайный сговор тех, двоих, скрытая клятва в верности.

Этот жест, как электрический, надежно изолированный, отключенный, абсолютно безвредный провод — сколько раз она его трогала в полнейшей безопасности,— этот жест, словно провод, внезапно оголился, подключился к мощному генератору и пронзил ее током, опалил... Всесильный мозг всеведущего божества выбрал среди всех возможных движений именно этот жест, как лучший проводник для передачи, переноса того чувства, которое с неудержимой силой пронзает, испепеляет ее: зарождения любви.

Смертельный страх застилает глаза, она слабо сопротивляется: «Но это неправда. Не верю я...» Помогите, она умирает, жизнь ее покидает, спасите ее. «Нет, я вас спрашиваю, скажите мне: где вы тут увидели какую-то глубокую правду?..» Собрав все силы, она кричит: «Да это же фальшиво! Уверяю вас. Сверхфальшиво. Это и есть фальшивое правдоподобие романов. Этот жест — накинуть шаль на плечи озябшей женщины,— ведь он может иметь тысячу значений — или ровным счетом ничего не значить... Простая вежливость — и все... Например, Пьер, мой муж... для него это так естественно, он ко всем одинаково внимателен, все равно к кому, он такой приветливый... Уж эти мне романисты — берут что угодно, наугад... Приметят какой-нибудь жест, пусть самый ничего не значащий, возьмут его, скажут себе: «Ага, отлично, это мне и нужно, тут он будет на месте»... любой случайно запомнившийся жест: «Пусть этот жест означает зарождение великой любви». Вот вам и все. Фокус удался. Все поверили. Твердо, безоговорочно. Обаяние печатной строки. Уверенный тон писателя. И читателю затуманили мозги. Он решает: писателю лучше знать. И уговаривает себя: как это правдиво! А потом находит аналогию в жизни... Обязательно находит, раз этот смысл туда вложен, раз люди привыкли видеть жизнь сквозь романы... Эти книжные истины иногда накладывают на людей отпечаток на всю жизнь... Я сама знала одну несчастную девушку... Во-

образите, только оттого, что она прочла мопассановскую „Историю одной жизни“...»

Да как она смеет? С ума сошла, что ли?.. Она, такая застенчивая, всегда молчит — какая муха ее укусила? Что это на нее напало?

— Дитя мое, все это чрезвычайно трогательно...— В суховатом голосе ледяной смешок, он больно колет...— Все эти люди, ваши знакомые, которые видят свою жизнь сквозь романы... Что ж, это их вина, но отнюдь не вина романиста. Он-то именно — тут вы меня не поняли, когда я сказал, что этот жест поразительно правдив,— он, романист, если он только настоящий писатель, он интегрирует каждое движение в необычайно сложное целое, и это-то и придает всему значение. Сам по себе жест, отделенный от всего целого, значения не имеет, это же ясно. В произведении искусства, простите за настойчивое напоминание столь банальных истин, в произведении искусства ничто, повторяю, ничто нельзя брать в отдельности. Это единое целое, каждая частица подчинена всем остальным и соподчиняет их себе... Те, кто читает романы, как эта ваша бедная девушка, только получают по заслугам... Они понятия не имеют, что значит истинное произведение искусства. Ни малейшего представления...

Нет, слишком поздно, теперь их ничем не удержать, этих женщин, они уже набросились... Сломлена хрупкая преграда, они налетают, толкаются, роются... Словно на распродаже большого универмага, они хватают, тянут, убегают, примеряют. Впору или нет? Затянуться потуже... Этот новый покрой немного непривычен, странен... ничего, надо привыкать... «А вы заметили? Да, да, перечитайте непременно, я вас уверяю...» — «Да, я тоже удивилась... у этой молодой особы, у героини, у Эстеллы, толстые ноги...» — «Неужели? Что-то не помню...» — «Да, да, уверяю вас... вспомните, когда они в лодке, сразу после сцены на террасе... там ясно сказано: «Он взглянул на ее тяжелые ноги, на широкие щиколотки...»

Задумчивые взгляды скользят по залам музеев, по древним храмам, они карабкаются на Акрополь, ощупывают формы Венер и Диан-охотниц, фигуры кариа-

тид, уносятся к беговым дорожкам, где с царственной грацией перебирают точеными ногами породистые кобылы... И зрительницы качают головами озабоченно, неуверенно... и потом, вскинув голову резким движением: «Да, Марсель, безусловно, прав... То, что хорошо в каком-нибудь романе...»

Пусть они расступятся. Разгоните это одураченное стадо... А виновного ко мне. Вон того, там, да, вот именно — вас! Вы арестованы. Наденьте ему наручники. Протяните руки. Я за вами давно слежу, давно собираю против вас улики. Теперь вы попались. Застигнуты на месте преступления. Что ж, давайте поговорим с глазу на глаз об этом самом знаменитом месте, где, по-вашему, будто бы с изысканнейшей простотой воплощены самые высокие чувства. Тот самый жест с шалью, в нем якобы с таким искусством «все сказано», что лучше не скажешь в целой книге. Вы это им подали. Вы их заставили выпить этот яд. Меня потрясла ваша самоуверенность, ваша смелость. Вы так уверены в своей безнаказанности, вам все сходило с рук. И вдруг — всего не предвидеть, правда? Вдруг непредвиденное препятствие, неожиданный случай. Вдруг одна из жертв — и я восхищен: какая сила, какой темперамент... сопротивление организма, как у Распутина,— самый смертельный яд на нее не действует... вышла, крикнула: «Это еще что? Чем вы меня опоили? Что вы мне подсовываете? Это опасно, вредно... тут фальшь вместо правды... Это ничего не значит... можно придать любой смысл...» Она не принимает, отталкивает. Тут вы пробуете другой прием: в ход пускаются снотворные, кляп в рот: «Да, разумеется, сам этот жест ничего не говорит, но тут чрезвычайно сложный комплекс, конструктивное единство. Вот что придает этому жесту такую значительность — эти отзвуки, этот резонанс... Да, во всяком искусстве». Тут ваши глаза мечтательно затуманиваются, видно, что вы удалились в неизвестные края, в таинственные неведомые страны... И ваши слушательницы и все вокруг в трансе, словно одержимые,— вы их опоили, околдовали... Но я вас спрашиваю, я хочу знать... куда вы их завели? Какие поэтические откровения, какие невыразимые глубины они увидят в этой

штампованной дряни, в этом рыночном ширпотребе? Хоть бы вы мне показали. Если вам удалось открыть хоть что-то нетронутое, что-то живое, пульсирующее — значит, нужно показать именно это, а не ту пошлятину, ее прятать надо... И никаким «конструкциям» ее не спасти: грубой цементной глыбе не место в здании из прекрасного тесаного камня. Знаю, что́ вы мне ответите. Я вас раскусил. Вам уже сказано: попались! Сейчас вы начнете уверять... есть, мол, такие вещи... что, неправда? — ...скажете, что есть вещи и мне, тупице несчастному, пора бы их знать... То, что словами нельзя выразить... нечто невесомое, неуловимое, мерцающее... Но тут вам от меня не отделаться: вы же сами говорили, сами утверждали: без слов ничего нет. Слова́ — это само чувство, в них оно рождается, оживает. Вы даже углубили эту мысль — не отрицайте, я сам слышал: точно найденное слово,— и вы правы, иногда так и бывает, такое слово в свою очередь может зародить новые чувства... Так где же вы их нашли, эти слова? Где? В каком месте? Покажите мне их. Покажите мне это тончайшее соотношение слов, которое выражает неуловимые оттенки чувства. Где они? В чем? Нет, больше так продолжаться не может, понимаете? Надо помешать вам вредить. Вы — сама ложь, вы — зло. Вас надо вырвать с корнем — схвачу вас сейчас за глотку, рвану кверху, весь мир призову в свидетели, закричу, завоплю...

Но, как в страшном сне, он не может издать ни звука. Броситься бы сейчас на того, схватить его — но он чувствует, что не может сдвинуться с места. Онемевший в нем крик, оцепеневший жест — напрасно он пытается их высвободить,— невидимые частицы, обстреливающие твердое тело — человека, стоящего перед ним,— эти частицы отскакивают, летят к нему обратно, вонзаются в него, накапливаются в нем, ему больно... он оборачивается, наклоняется вправо, слышит наконец свой собственный голос: он с трудом пробивается тонкой струйкой, бормочет:

— Должен сказать... этот жест... с шалью... мне кажется, такой банальный жест...

Но за ним давно наблюдают. Подозрительный тип... Что это он затеял? Что это он там замышляет — нагнулся к своей соседке с таким заговорщицким видом, шепчет ей на ухо... Строгий голос окликает его с другого конца стола:

— Что вы там рассказываете? Мы тоже хотим знать. Нам тоже интересно. Что вы там нашли, в этом превосходнейшем произведении? Что вам не по вкусу?

Все головы обернулись к нему, он чувствует, как его опутывают взгляды, он делает слабую попытку высвободиться...

— Нет, нет, ничего... Я совершенно не собираюсь подвергать сомнению ценность «Золотых плодов». Прекрасная книга, согласен. Я только хотел сказать, что именно этот жест, что, быть может... я лично не выбрал бы его... как иллюстрацию... по-моему, этот жест скорее портит... а кроме того...

Но те, кому поручено охранять спокойствие и порядок, настороже, рука ложится на его плечо.

— О нет, Анри, не пытайтесь нарушить связь... Марсель совершенно прав: произведение искусства — это единое целое. И этот жест, такой, каким он описан в романе, взятый в общем контексте, приобретает такую наполненность... Это совершенство.

Но теперь кое-кто уже насторожился. Видно, он тут не один. Видно, есть тут и другие — прячутся, хитрят,— несогласные, хитрые еретики, критиканы. К ним присматриваются, прислушиваются... вон там один, по нему давно видно, он молчит — чувствуется, что от него что-то распространяется, и сидящим рядом с ним даже как-то неловко, неудобно, чем-то он им мешает, будто воздух вокруг сгустился... им не по себе, их движения скованны... а все из-за него, это теперь ясно: какие-то эманации, словно тяжелые струи невидимого газа, исходят от его молчания.

Желтое око хищной птицы устремляется на него — зализанные назад жидкие волосы, впалые виски, изможденное, длинное, желтое лицо, лицо великого инквизитора, складывается в презрительную гримасу:

— А вы почему помалкиваете, Жан Лабори?.. Да, Жан Лабори слушает нас, а сам ни слова. Но зато ду-

мает, много думает, верьте мне. Да, конечно, Жану Лабори не нравятся «Золотые плоды», совсем не нравятся... Я настолько в этом уверен, что готов держать пари.

Страшное подозрение тяготеет на нем. К его досье подшито тяжкое обвинение. Он знает — сейчас они откроют папку с его делом. Минута — и они всё обнаружат, все выйдет на свет божий, вызванное из небытия, раскрытое перед их глазами... Ага, они все видят... «Да, вот оно, у меня в руках, оно самое... держу...» С неподвижными лицами, с застывшими взглядами они передают «дело» друг другу, незаметно, словно играя в «колечко»... Вот, пожалуйста... Взяли? Держите? Меж ними пробегает невидимый ток — симпатия, солидарность, захватывающее чувство сообщничества... Да, да, так и есть, правда? Вы со мной согласны? А я, представьте себе, совсем забыл, ни разу не вспомнил — и вдруг сейчас опять все всплыло... Отсюда, именно отсюда все и пошло. Вы это тоже почувствовали? Да, к сожалению, тут и сомневаться не приходится... вот она, улика... эта книжонка, да, вот эта брошюрка, он мне ее как-то послал... наверно, и вы ее получили? Теперь вспомнили?.. Так и вижу ее перед собой... небольшая книжечка, светло-серая обложка, у этого издателя... У какого издателя?.. Право, не помню... Неважно, издатель неизвестный, он уже давно исчез... издавал за счет авторов... Значит, и эта книжка за счет автора? Ну, конечно, неужто вы сомневались?.. Но, несмотря на это, издатель потом — вы об этом знаете?.. Да, знаю, он все пустил на макулатуру, продал весь тираж на бумагу... А мой экземпляр валяется где-то в пыли у букиниста, на набережной,— надпись я, конечно, вырвал... И нигде об этом ни звука, ни малейшего интереса... Нет, кажется, была заметка... Пустое! Просто реклама издательской фирмы...

Вокруг него беззвучно кружатся их слова. Чутким, давно обострившимся слухом он воспринимает их, как легкий шелест страниц, осторожно перевернутых их пальцами... Но что же там было, в этой книге? Вы помните? Что там было?

Нет, ничего там не было, не ищите, умоляю вас, не троньте, уберите руки...— он пытается отодвинуть их, осторожно, деликатно, успокоить их...

— Сам не знаю... я ничего не говорил, потому что хотелось послушать... Мне это очень интересно, очень... не знаю, почему вы решили... Напротив, я... «Золотые плоды»...

Пусть они успокоятся, они явно ошиблись, ничего за этим нет, ничего любопытного для них, никаких улик, никаких доказательств... с чего они вообразили? Ничего такого в нем не осталось, все давно вычищено, вымыто, продезинфицировано, нет ни следа, ни одной частицы, откуда могло бы просочиться что-то для них неприятное, никаких подозрительных эманаций, никакой скрытой неприязни, низменной зависти, нелепых сравнений... да и с чем сравнивать, сами подумайте, ничего ведь не осталось, он может дать им гарантию, что никогда он не возвращался к прежнему, пусть знают — он исправился, поведение безупречное, никогда никаких проступков, никаких отклонений, об этом он и помыслить не может, он абсолютно ни к чему не причастен, он чист, словно в нем ничего не осталось — пустой сосуд, готовый принять все, чем вы захотите его наполнить, гибкая оболочка, готовая облечь, не деформируя, все изгибы этой прекраснейшей вещи...

— «Золотые плоды»... Прочту непременно, с наслаждением... Читал только отрывки... Да, надо будет обязательно... Уверен, что мне понравится...

Спокойные, непринужденные интонации его голоса вселяют веру, все отходят от него, они умиротворены, они его больше не трогают...

А он вдали от них, в одиночестве, куда никому из них не проникнуть, вдали от шумихи и мишуры, от светской возни, надев рубище и власяницу, достает из тайников статуи святых, подымает сорванные образа́, снова затепляет лампадку — он сам ее погасил — и падает на колени, устремив глаза на дрожащее робкое пламя.

— «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет.

Лицо безмятежно, взгляд устремлен куда-то вдаль. В голосе — уверенность человека, излагающего неоспоримый факт, непреложную истину.

И правда победно шествует вперед, топча все на пути: «„Золотые плоды“ — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет».

На этот раз удар пришелся не по тем жалким людишкам, которые только хотели бы сопротивляться, как вон тот — он еще весь дрожит, он при первых угрожающих признаках сдался, бросил оружие,— не по таким, как он, но по сильным, но по надменным, по властителям дум, по тем, кто еще минуту назад владычествовал над толпой в неприкосновенности, вне всяких сравнений и снисходительно раздавал поощрения и похвалы....

Это в меня, в меня он метнул копье, меня сбросил наземь, меня, перед кем это льстивое существо еще недавно пресмыкалось, ползало на коленях... «Вы — самый великий, самый сильный... Ваш последний роман — само совершенство... Вы превзошли себя... Лучшая ваша книга...»

Каким образом, в какую ночь, когда он мирно спал, те захватили власть? Когда же перебежчик перешел на сторону узурпатора? А с него сорвали регалии, его унизили, угнали, прогнали сквозь строй, ему грозит смерть... Пот — градом со лба, ноги подкашиваются, он чувствует, как бледнеет, как теряет сознание... Только не показать, не привлечь внимания, любой ценой сохранить спокойствие... Выше голову. Губы сжаты. Глаза пусты. Главное — не дрогнуть. Иначе, если увидят они, те, кто слушает окаменев, что происходит, если они заметят хоть малейший признак смятения, стыда, страдания, они, кому каждая едва заметная вибрация передается сразу и, отражаясь, идет от них волнами, все больше усиливаясь,— они сразу заволнуются, вмешаются, станут неловко защищать его, просить пощады себе, жалости к нему: «О-о, по-моему, вы преувеличиваете... Я знаю, что были и другие прекрасные книги... Знаю, о присутствующих не говорят, но все же нельзя забывать, есть еще романы Робера Юнье...» — и этим только ускорят его погибель.

От одной мысли о том, что тогда будет, он весь сжимается, съеживается, ужас пронизывает каждую клеточку кожи. И насторожившись при этих возгласах, вперив в него глаза, приметив его дрожь, с какой радостью палачи узурпатора бросились бы на него... Увидев, как он жалко барахтается, им на помощь сбегутся другие — раненых всегда добивают, таков закон, жалости нет места: «Да, да, конечно, и я, признаться, люблю книги Робера Юнье или, скажем, Жана Дюнана... но надо сказать откровенно... «Золотые плоды» — настоящий шедевр... Триста лет пройдет, а они останутся... Нет, честно говоря, «Золотые плоды» — вещь совершенно уникальная. Какое-то чудо...»

Нам, скромным людям, порядочным людям, которые оказались здесь случайно, когда бежать уже поздно, нам нельзя ни поднять глаза, ни опустить взгляд. Нам надо притвориться слепыми, глухими, совершенно непричастными, надо окаменеть, застыть на месте, стать вещью, куклой, набитой стружками, с фарфоровым лицом и стеклянными шариками вместо глаз. Одно движение, один только еле заметный вздох — и все вокруг нас ожило бы, зашевелилось — так просыпается расколдованная Спящая Красавица,— и страшное, невыносимое зрелище развернулось бы перед нами. Мы увидели бы, как перед строем проходят высокие чины: погоны и ордена с них сорваны, шпаги сломаны, на лицах едва заметная бледность, отсутствующий, притворно равнодушный взгляд, а в мертвой тишине отчетливо, как выстрел, звучит каждое слово фразы: «„Золотые плоды“ — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет...»

Нет, она не такая трусиха, как все другие. Не желает она поддаться, как они все, сделать вид, что и ее обезоружил этот невинный, этот ни к чему не причастный вид, который он на себя умеет напускать, будто он говорит сам с собой, будто забывает обо всем вокруг и вовсе не собирается никого обидеть, остерегается сравнивать, а просто-напросто со всей искренностью, прямотой и простотой заявляет — а не ска-

зать никак нельзя! — что вот есть вещи, настолько явные, настолько бросающиеся в глаза, перед которыми каждый — хочет он или нет — должен преклониться, признать как неоспоримый факт эту истину: «„Золотые плоды“ — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет».

Для нее почти радость, какое-то сладостное удовольствие так знать его насквозь, ясно видеть, как он под защитой своей непроницаемой брони, с абсолютно бесстрастным, совершенно равнодушным выражением лица следит за ними, радуясь меткости и точности своих выпадов — их никто не может предвидеть, никто не умеет отбить,— как он издевается над своими жертвами — застигнутые врасплох его молниеносным грубым наскоком, они, шатаясь, пытаются удержаться на ногах, подавить гримасу боли, заглушить стоны,— и как он наслаждается растерянностью зрителей. Она знает: ему занятно быть незримым для других — он считает, что недоступен чужим взглядам,— и видеть тех, что еще минуту назад были так спокойны, так уверены в себе, так безмятежно улыбались жалкому виду других, слабых, загнанных в тупик, ему смешно видеть, как и они тщетно бьются в той же западне. Несчастные! Чем больше они трепыхаются, чем больше стараются выпутаться, тем глубже увязают — их песенка спета, они погибли.

Нет, она их не бросит на произвол судьбы, как эти трусы. Она не станет притворяться, что ничего не видит. Она смотрит во все глаза, она наклоняется к поверженной жертве, все ниже и ниже, совсем вплотную, она не боится, что вдруг на нее брызнет, замарает ее что-то тошнотворное, скверное. И вдруг бесстрашно, полная благородного возмущения, презирая все опасности, готовая на любые жертвы, она, такая слабая, с голыми руками бросается на обидчика, подставляет себя под удар, готовая все принять на себя, отвести от других, вырвать у него оружие.

— Да, конечно,— ее голос немного дрожит,— конечно, можете говорить, что хотите, но мне «Золотые плоды» не нравятся... По-моему, скука смертная... Темно, непонятно... Есть места — мне их приходилось перечитывать по три раза.

Она видит, как бедные, скованные пленники чуть заметно встрепенулись. В этом движении благодарность, радость, какая-то робкая надежда...

— Да, я трижды бралась за эти страницы, и не я одна... Вот Барра — такой тонкий, такой умный, гораздо умнее меня,— он тоже сознался мне, что ничего в этом романе не находит. Может быть, это и гениально, но все-таки... Нет, мне хочется, чтобы мне это доказали с книгой в руках...

С книгой в руках. Пусть им растолкуют. Больше они ничего не просят. С какой силой, с какой смелостью — они преклоняются перед ней! — она сумела в нескольких словах изложить все их скромные требования. Пусть им кто-нибудь объяснит — с книгой в руках. Вот сейчас пусть кто-нибудь встанет, подойдет к книжной полке, возьмет в руки эту книгу, эти «Золотые плоды», и пускай откроет перед всеми, белым днем, на какой-нибудь странице, неважно на какой, и пусть им покажут, пусть объяснят... Ах, значит, вам объяснять текст, как в школе! Вот до чего вы дошли! Вот что вам нужно! Да, да, именно это им нужно, они до этого дошли. Они согласны снова стать детьми. Ведь они так беспомощны, так безоружны... Даже ту безвкусную жиденькую кашку, которую они с таким отвращением поглощали в школе, они сейчас готовы съесть, они даже выпрашивают ее... О да, они знают — такие вещи необъяснимы, нельзя точно определить все это — поэзию, затаенный смысл, великие тайны, глубины и полутени, в которых те, другие — избранники, обладатели сокровищ — чуют пульс жизни... да, они знают, что им придется довольствоваться сухими схемами, голыми словами и что эти слова так же не похожи на то, что видят другие, как не похоже название города на дорожном знаке на сам город, который виднеется вдали с домами и улицами, с мостом через реку, с колокольнями и зеленью садов. Но они готовы удовольствоваться и этим — им все годится: дорожные знаки, столбы, указатели, стрелки,— лишь бы им, невидящим, незрячим, не сбиться с дороги.

Пусть бы им объяснили в нескольких словах —

хотя бы в самых бледных, самых неподходящих, самых сухих и серых. Да, это грубый способ, но иногда в руках людей скромных и тактичных, доброжелателей, которые чувствуют свое родство с нищими духом и любят уделять обездоленным от щедрот своих,— в руках таких людей даже эти слова, конечно, в очень упрощенном, в чрезвычайно обедненном виде все же могут передать основную идею... иногда самые сложные, самые глубокие вещи можно объяснить, была бы на то добрая воля... А уж они... пусть только кто-нибудь для них постарается... они, наверно, поймут... пусть только кто-нибудь попробует, откроет эту книгу, эти «Золотые плоды», на любой странице, где угодно...

Надо бы их пожалеть, они так пришиблены, они никак не осмелятся... они не умеют воспользоваться хотя бы этой маленькой, этой хрупкой точкой опоры и свободно, плавно взлететь... Им так нужна крепкая поддержка, они так боятся... Им хочется почувствовать почву под ногами, твердую, надежную... шагать в общем строю в заданном направлении... Они так любят, чтобы ими руководили, вели их мысли на поводке, они уверены, что тогда они пойдут по верной, прото持ренной дорожке. Как они честны, как охотно, послушно все принимают, как они податливы, как легко лепить из них что угодно... только нужна жесткая форма, прочный каркас, чтобы они влились в нее, застыли... Им нужно зацепиться за что-то устойчивое, крепкое, обвиться вокруг подпорки, иначе их слабые усики обвиснут, обмякнут, свернутся жгутом; отомрут, отсохнут... Они тянутся, тянутся — дайте им хоть кончик чего-нибудь, хоть что-то, только бы схватиться... о нет, они не требуют всего сокровища — достояния сильных, нет, только обломок, лишь бы крепкий, твердый... Пожалейте... они так просят... Положите конец этим мучениям — так тянуться изо всех сил, пытаться ухватить хоть что-то — и ничего не находить... Будьте к ним снисходительны... сделайте великодушный жест... Покажите им, объясните — с книгой в руках...

И может быть, тогда — они не осмеливаются даже подумать об этом,— может быть, тогда свершится чудо — они и надеяться на него не осмеливались. Они

посмотрят, приглядятся... Только и всего?.. О, как они расхохочутся, как запрыгают, как будут кататься по земле от восторга — вернулись силы, вернулась вера в себя, радость... Только-то и всего?.. Да ведь они это давно увидали сами, давно схватили, а потом отбросили — настолько все это было рыхло, непрочно, настолько слабо и хрупко,— все рассыпалось в их руках, а руки у них крепкие. Они люди избалованные, и вовсе они не беспомощные — это ошибка, путаница,— это вон те, другие, те и вправду народ смиренный, неимущий, голодный... они-то довольствуются — еще бы, неизбалованный народ! — этой жидкой кашицей для беззубых. И до того им стыдно за этих несчастных, до того неловко, что они готовы обращаться с ними, как взрослые с детьми, когда те протягивают им на ладошке камешек, ветку, клочок бумаги и говорят: «Вот тебе апельсин, на, вот хлеб, вот конфетка, ешь, ешь...»

Они готовы причмокивать губами, заводить глаза, качать головой от восторга: «Ах, как вкусно... Ах, какая прелесть эти «Золотые плоды». Да, вы правы. Какая красота. Какая глубина!»

Нет, все прошло, исчезло — мимолетная вспышка сразу притушена. Никаких признаков, ничего, что могло бы навести на мысль о сговоре, о тайном, робком сочувствии к ней, к этой сумасшедшей, к этой отчаянной женщине.

Но как же они, вон те, что они собираются делать? Все взгляды с тревогой обращены к ним. Что они станут делать, эти двое, сидящие в стороне, друг против друга с одинаковым выражением недовольства и скуки на лицах? Первый — худой, костистый, узловатый, похож на старое корявое дерево, искореженное и погнутое морскими ветрами. Скрещены длинные ноги, остро торчат колени. Всем известно — да и ему самому ясно, как же иначе? — что в нем ураганом бушует мощный ум, скручивает, стягивает его мышцы в узел, вздувает суставы длинных жестких пальцев и локтей, втягивает кожу на впадинах висков и щек, выпирает на скулах и на кадыке. От мыслей в его глазах лихорадочно вспыхивают блуждающие огни. Ни одним

взглядом не удостаивает он эту несчастную психопатку. Кажется, он и не слыхал ее просьбы. Через головы всех он вперяет взгляд в того, другого, сидящего напротив. Этот — тяжелый, тучный, тугой, как бурдюк с вином, переполненный до отказа чем-то редким, драгоценным, что он бережно несет в себе, охраняя от нечистых прикосновений, и нехотя, скупо чуть приоткрывает, делясь с немногими, с избранными. Но помимо его воли что-то просачивается вовне, то ли в его улыбке индийского божка, то ли во взгляде сквозь полузакрытые веки,— но вот он широко раскрыл глаза под жгучим взглядом того, другого. И они спрашивают друг друга глазами: «Что будем делать? Мимо не пройдешь, вы согласны?» — «О да, конечно. Такое неуважение, такая глупость — нельзя их терпеть безнаказанно».— «Да, и я охотно возьмусь...» — «Отлично, предоставляю вам это удовольствие. Давайте!»

Губы еле двигаются, слова сочатся сквозь застывшую таинственную улыбку:

— Думаю... и вы, безусловно, согласитесь со мной, дорогой друг... Для меня редкостное — я не боюсь этого слова,— именно редкостное обаяние всей книги — и вот почему ничего нельзя из нее выделять — заключается в том, что она уникальное в своем роде явление.

Он говорит в нос, нехотя растягивая слова, словно ему приходится силой протаскивать их сквозь узкую щель:

— Я считаю, что эта книга ввела в литературу особый язык, который устанавливает контакт путем особой непространственной структуры. Это принципиально новое и самодовлеющее использование ритмической знаковой системы, превосходящей в своей напряженности то необязательное, что выражено в самом их семантическом соотношении. Кстати, и вы, дорогой друг, превосходно описали именно этот необязательный аспект построения семантической модели.

Второй, сидящий напротив, передергивается, словно его пронзило сквозняком, но сразу успокаивается и медленно наклоняет голову:

— Да, это очевидно. Тут есть явный посыл, который снимает некую герметичность, растворяя ее в неопределенности смысловой ткани.

— Да, тут у нас расхождений нет. Именно этим вневременна́я сущность вплавлена в становление ведущей темы. Это качество и приближает книгу в ее глубинном аспекте к поэтическому сказу.

— Более того, я сказал бы, что автор формирует модель по структуре своего сознания, но и модель, соотнесенная с объектом действительности, навязывает свою структуру авторскому самосознанию. В этом и развертывается замысел во всю ширь — и как развертывается! — этим он нас и потрясает.

И те, кто на миг понадеялся выйти на солнечные просторы, мелькнувшие издалека, снова влачат свои цепи в тяжком походе, несчастные пленники, гонимые бог весть в какие болота, в бесконечную ширь ледяной тундры.

Только не я, не я и не я, не я! Я — живой, легкий, веселый, я ускользнул, схватился за что попало, за соломинку, и меня понесло легче пены, я сверкаю, переливаюсь, словно шампанское, словно ртуть... Я держусь на весу, хватаюсь за все, что подвернется... «особый язык», «новизна», «структура», «смысловая ткань», «посыл», «семантика», «поэтический сказ»... Упругие слова, и я, легче пушинки, прилипаю к ним, к словам прозрачным и неуловимым, к ритмам, подъемам — и слова меня подымают, я лечу над морем облаков, все выше и выше, в чистоту, в лазурное небо, в беспорочную белизну, к солнцу, в блаженстве, в экстазе...

— Ах, как верно вы все объяснили, как это точно. Истинно поэтическое произведение. Да, вы правы, мы потрясены...

Если бы он только мог схватить их за плечи, встряхнуть как следует этих одержимых — слушают с блаженными физиономиями, словно под гипнозом... Да очнитесь же, вас погрузили в сон гипнотическими пассами, внушением, придите в себя, взгляните же на них, на этих двух шулеров, которые только что проделали с вами свой фокус-покус. Всмотритесь в них повнимательнее: ведь в них есть какие-то особые при-

меты — достаточно их увидеть хоть раз, чтобы потом узнавать безошибочно. Не верится, что даже при всей вашей невнимательности вы ничего не заметили. Да это же бросается в глаза. Но вы предпочитаете признать свою неправоту, так гораздо спокойнее, вообще лучше на такие вещи взглянуть мельком и сразу отвернуться, позабыть — мы ничего не видели, ничего не слышали... И с недоверием, с удивлением слушаешь, когда кто-нибудь — о, как это неделикатно, как нескромно! — пытается обратить ваше внимание, во что бы то ни стало ткнуть пальцем... Нет, это возмутительно... Что вам, в сущности, надо? Вы всюду видите одно плохое. А так хочется жить спокойно, угнездиться потеплее вместе со всеми, прижаться друг к другу покрепче, так хорошо, так тепло и успокоительно жить в счастливом неведении, в невинности незнания.

Но ведь это необходимо, слышите? Поверьте мне, все это чрезвычайно важно. Наберитесь же смелости, подойдите поближе, все сами увидите... надо только уловить хоть малейший признак, ухватиться за него, не выпускать из рук... Вы не можете себе представить, как далеко, к каким невиданным сокровищам можно дойти, когда осмелишься рискнуть, держа в руке эту нить Ариадны.

Именно с этого я и начал, это меня и вело к цели: я заметил, что те двое желают держаться в отдалении от всех, царить где-то в недосягаемых заоблачных высях, откуда в мимолетных разрывах облаков они являются нам, и мы видим, что они сигнализируют друг другу с одной вершины на другую, делают едва заметные знаки — вы это только что сами видели! — прежде чем уронить вниз, для нас несколько слов,— да, должен сознаться, что сначала и я тоже тянулся к ним, пытаясь их достичь, уцепиться за них... но я такой массивный, такой тяжеловесный, не то что другие — пушинки, несомые легчайшим дуновением,— и каждый раз я тяжело падал, ушибался, долго лежал ничком, без сил и никак не мог подняться.

И вдруг однажды я заметил эту мелочь, эту малость, которую другие, как мне казалось, не замечали или не желали видеть. Я проследил за тем, что мелькнуло во взглядах, которыми они обменивались, я про-

нюхал, что кроется за их высокомерной отчужденностью, за их окаменевшей позой. И я дошел до самых истоков, до тайников, откуда это пошло, и там своими глазами я увидел то, с чего они начали,— их первые движения, когда они еще давным-давно забаррикадировались, замкнулись в себе, заделали все выходы, заткнули малейшие щели, чтобы не дать никому проникнуть к ним, чтобы никто не смог впиться в них взглядом, чтобы не доходили до них звуки чужих голосов, растерянные улыбки, чтобы им не увидать себя в смутных, слабо очерченных отражениях в виде каких-то жалких существ, темных людишек, безвестных авторов неудобочитаемых, отвергнутых всеми рукописей. Тройным замком заперлись они ото всех. И, уединившись, создав для себя другой свой образ, они созерцали только его, а он все рос и рос, становясь гигантским, чудовищно разрастаясь во все стороны.

Только к этому своему подобию они и обращались, только с ним говорили на языке, созданном исключительно для них самих,— и они стали единственными своими читателями, единственными своими критиками. Только с собой они считались, только свое одобрение они принимали.

А потом я увидел, как другие, оставшиеся за дверью, вдруг забеспокоились. Странный недуг охватил их всех. Они чувствовали, что их изгнали, не допустили — правда, неизвестно к чему, но они ясно ощущали: они — изгои. Неужели же они до такой степени недостойны? Неужели они до такой степени невежественны? Но нашлись храбрые пионеры, нашлись неутомимые искатели из тех, кто готов идти на погибель, открывая недоступные сокровища в гробницах фараонов, нашлись те, кто с радостью отдает всю жизнь, расшифровывая тайны иероглифов. И эти люди стали прислушиваться, ловили каждое слово... Где-то появились рукописи... редкие издания, какие-то статьи прошли в журнале незамеченными... и они их нашли, они их выкопали, они сняли толстый налет презрительного равнодушия, покрывавший их, они все обследовали, все рыли и перерывали и наконец увидели, наконец-то поняли... в этих знаках есть смысл, в них открывается незнакомый язык. Язык совсем новый, изумительный

по своей точности, независимый и свободный, доступный только немногим, редким избранникам.

И тогда, полные смутных опасений, они осмелились приблизиться, подойти к строго охраняемым дверям, к высоким решеткам королевской резиденции, где взаперти живут эти властители дум. Они робко шепчут заветный пароль. И высокие ворота приоткрываются, пропуская их внутрь. Они проходят величественной площадью, широкими дворами королевских палат по дорожкам, усыпанным белым гравием. Они вошли, они все увидели. И когда они выходят обратно, все растущая толпа непосвященных спрашивает их в нетерпении: что там было?

Конечно, они очень растерялись — так они сами говорят,— везде чувствовалось присутствие невидимых стражей, которые следили за каждым их жестом, каждым шагом. Надо было держаться строжайшего этикета, кланяться очень низко, до самой земли, но это их не смутило, они просто упали на колени... «Ваши труды...— ошалев от счастья, от гордости, бормотали они,— мы первые, без поддержки, без всякой помощи, открыли их... созерцали... и мы, Учитель, мы осмеливаемся сказать вам в глаза... мы все поняли, мы восхищаемся... Нашему обожанию нет пределов, нет границ, верьте нам!»

...И тут мы увидели, что его величество приближается к нам, велит нам подняться с колен... Мы бы никогда его не узнали... такая простота, такое обаяние. Он сам провел нас в покои, где хранятся бесчисленные манускрипты...

— А нам тоже можно посмотреть? Мы тоже хотим... Когда нам позволят взглянуть на эти сокровища? — Толпа дрожит от нетерпения.

— Погодите, погодите, все придет... Он разрешил...

— Не может быть!

— Да, согласился... И если бы вы знали, с какой исключительной приветливостью, с какой обаятельной непринужденностью. В его словах...

— Как? Неужели? Он — с вами! — беседовал?

— Беседовал? Да он с нами так разговорился — остановиться не мог! До того разоткровенничался...

И мы тоже, под этой освежающей струей... все, что он говорит, так свежо, так ново, так неожиданно... мы так увлеклись, что иногда — что скрывать? — совсем забывали, где мы...

— О чем же, о чем вы говорили?

— О, обо всем и ни о чем. Что в голову приходило...

— Нет, все-таки, ради бога, скажите — о чем?

— Да о чем попало, о самых простых вещах, ну обо всем...

— Обо всем? А вдруг... да нет, не может быть... разве так бывает... Может быть, и о нас... Ну скажите же, о чем вы говорили... о ком? Неужели и обо мне... какое счастье, неужто о моей книге... Но каким образом, каким чудом.... неужели и туда проникло...

— Да, представьте себе, он очень в курсе. Всем интересуется. Просто поразительно. Он читал и ваши книги...

— Фу, голова кружится... Не мучайте же меня... Скорее... Что он сказал?.. Как? Только и всего?.. Очень странно... Ничего не понимаю. Так противоречит всему, что раньше... Но кто мы такие — нам ли судить? Надо принять его слова бережно, изучать их смиренно, вдумчиво... Надо постигнуть тайны неведомого нам языка... О, мы готовы приложить все усилия... Мы хотим стать достойными того, чтобы и мы в один прекрасный день увидели, как перед нами распахиваются высокие, окованные железом врата, мы тоже хотим с трепетом пройти по белому гравию широких дворов, по анфиладам грандиозных покоев и проникнуть... преклоняя колени, целуя руки... Что вы! Прошу, вот так, сядьте подле меня...

Отсюда оно все и началось. Отсюда и пошло, в этом я уверен.

Но даже теперь, когда победа им обеспечена, воспоминание о прошлом оскорблении величества неистребимо живет в их памяти: они не могут забыть гогот черни, нахальную фамильярность мелких людишек, презрительную снисходительность высокопоставленных лиц, они все время настороже, они забаррикадировались в самих себя. Окружили себя постоянной охраной. Они отгородились от все растущей толпы, что ждет за

решеткой, надеясь когда-нибудь наконец улицезреть их — какое счастье, какая признательность, когда они на миг смешаются с толпой,— но они отделяют себя от всех огромными пространствами, похожими на торжественные белые площади перед дворцами королей,— непроходимыми, бесконечными равнинами своего молчания. Они непоколебимы, они не пойдут ни на какие уступки. Можно даже подумать, что чем неуклоннее растет число посвященных, тем дальше они отходят, тем недоступнее, невидимее они становятся. Все чаще и чаще они обращают свои слова только к самим себе, и слова уходят в недосягаемые выси, где в облаках царит их собственный, созданный ими когда-то, ни с чем не соизмеримый образ. И пусть их слова, обращенные к этому образу, теряются в небесных далях. Все смелей гонятся за ними неуемные искатели, все больше восторженных адептов, окрыленных верой, летит за ними ввысь.

Но я — я держусь. Крепко, обеими ногами я упираюсь в землю, плотно держится голова на плечах — я не участвую в диковинных этих левитациях. Мое открытие — это мой драгоценный талисман, я только что показал его вам! — в нем моя защита. Возьмите, я подаю его вам, он и ваш тоже, друзья мои, держите его крепче, не выпускайте из рук — и вы станете, как я, сильными, прозорливыми. Соберитесь с духом, давайте вместе посмотрим, что это упало, вот тут, к нашим ногам, будто метеор с дальней планеты. Поглядим-ка, что это такое. Поверьте, тут никаких особенных усилий не требуется. Взвесьте их хладнокровно, эти драгоценные словеса, эту редкость — даю слово, что вы не найдете в них ни следа полновесных и тонких мыслей. Это же бедные, пустые слова, слепленные грубо, кое-как, самым простым способом; стоит вам только захотеть, и вы тоже овладеете ими, вы тоже сможете запросто повторить все эти простейшие трюки, фокусы, всю эту пошлую ловкость рук. Посмотрите хотя бы бегло — жаль тратить ваше драгоценное время! — эти их герметические статьи, о которых идет столько разговоров, перелистайте вслед за мной все эти книги, и вы сами увидите: я прав! Ну-ка, разожжем из всей этой макулатуры огромный костер, возьмемся за руки,

закружимся в пляске. Ну же, товарищи, робкие мои братья, такие смиренные, такие нестойкие! Не поддавайтесь этому наваждению, смелее, помогите мне...

Пусть бы хоть кто-нибудь услышал его призыв, пусть хоть один человек встанет с ним рядом... пусть еще чьи-то глаза увидят то, что видит он... Больше он ничего не просит. Для полной уверенности, для ощущения своей непобедимости, для торжества правды ему нужно только это — еще один свидетель, один-единственный. Он обводит их глазами, его взгляд скользит по восторженным лицам, словно застывшим в каком-то оцепенении.

Но вон там, почти напротив него, как это он раньше ее не увидал? Она всегда старается быть незаметной, всегда в стороне, в ней ничто вас не коробит, у нее почти нет этих неуловимых внутренних движений, которые обычно настораживают, заставляют невольно, импульсивно искать — откуда они взялись, какие тайные причины их породили? Спокойные, слишком светлые глаза остановились на нем — пристальный, вдумчивый взгляд, улыбка, легкая, еле уловимая, чуть трогает мягкие складки щек. Сомнений нет: она все видит, она тоже открыла тайник, и она владеет талисманом — как видно, нашла его без труда, ее неуклонно вело безошибочное чутье, схожее с инстинктом птиц, почтовых голубей. Она не поддалась гипнозу, она стойко сопротивлялась. Ее взгляд успокаивает его: видите, вы не одиноки. Мы понимаем друг друга. И мы не одни, верьте мне. Другие, неизвестные нам люди живут в уединении, не общаясь ни с кем, но их с каждым днем становится все больше и больше, они, как и мы с вами, тоже видят всю правду. Несомненно, настанет день, когда правда восторжествует. Зачем же так волноваться? Зачем мучиться? К чему такая спешка? Надо выработать в себе равнодушие, пропускать все мимо, пусть идет своим чередом... Разве это имеет значение? Нужно выждать. Держитесь, как я, побольше юмора. Сознайтесь — зрелище презабавное...

— Кажется, мы с вами заодно? По-моему, вы тоже не из них, не из тех, кто сходит с ума по «Золотым плодам»?

Теперь, когда они нашли друг друга, когда они могут поговорить в стороне от всех, она ему сказала это, стоя перед ним, подняв к нему лицо, изучая его терпеливым взглядом... Чудом сохранилась ее душа... Никаким грубым наскоком извне ее не сломать, никаким дешевым рыночным добром не захламить... чистой, сильной предстоит ее душа перед ним, открывается ему в полной невинности, в трогательном доверии больших прозрачных глаз, в искренней детской улыбке... Ибо их — таких, как она,— есть царствие небесное... И в них волшебно растут и расцветают сильные, новые, нетронутые ощущения...

Он наклоняется к ней, он ей улыбается, глаза в глаза... Он готов от всего отказаться, отречься от всех накопленных богатств, от своей мудрости, своей никчемной учености, от умствований и притворства, чтобы стать таким, как она, защищенным от оскверняющих прикосновений, суметь, как она, созерцать зло с ничем не затуманенной ясностью во взгляде, хочет уподобиться ей всем — скромностью, смирением, непоколебимой верой в конечную победу добра, в торжество правды... Он чувствует, как на его губах появляется детская улыбка, ему кажется, что и его глаза сияют чистым светом...

— Если бы вы только знали, как меня радуют ваши слова... До чего людей ослепляет это пустозвонство, эти пышные дискуссии... Сколько «учености» — а для чего, я вас спрашиваю?.. Так редко случается найти человека...

— Что вы, ведь я в этом ничего не понимаю... Мне ли судить.

Слабый румянец вспыхивает на чуть обвисших щеках... седые, давно не стриженные волосы космами спускаются на шею... она крепко стискивает руки, ногти на коротких пальцах срезаны до мяса... на ее одежду неприятно смотреть, так она висит на бесформенном теле... старая, одинокая женщина, живет бог знает как... Чем она занимается? Рисует? Какие-нибудь гуаши? Миниатюры? Или пишет для себя — стихи, что ли?

Он подавляет в себе легкую брезгливость, старается преодолеть еле заметное ощущение унизительной своей неразборчивости:

— Нет, нет, вы понимаете лучше всех, вы су́дите лучше, чем все эти великие умы, которые ничего не смыслят...

Он с ней, он сбросил одежды патриция, отказался от дружбы сильных мира сего, из роскошных своих покоев, украшенных мрамором статуй, фресками, изысканной мозаикой, он последовал в катакомбы за ней, своей сестрой... их окружают язычники, их преследуют, их будут мучить, унижать, но он не отступится от нее, он хочет пойти к беднякам, к людям простым, чистым, к тем, кто знает, где искать истинные ценности...

— Понимаете, так редко встречаешь человека, который решается иметь свой собственный вкус и открыто говорить об этом... человека, который подходил бы к произведению с чистыми мыслями, без всякой предвзятости... По-моему, здесь нет никого... да вы сами слышали... никто не интересуется книгой, как таковой... К чему же с ними спорить?.. Ни одного искреннего слова... А вот с вами я еще раз почувствовал...

Она слушает, не сводя с него прозрачных глаз, чуть приоткрыв рот... лицо одержимой, лицо фанатички... такой ничем не загруженный мозг иногда вдруг целиком заполняется каким-нибудь учением... подчас самым неожиданным... Христианская наука... оккультизм... йоги... такие, как она, становятся адептами нелепейших сект... блуждают вдали от проторенных путей... нюдизм... греческие сандалии... столоверчение...

Ему хочется отшатнуться от нее, но под горячими лучами ее доверчивого взгляда из мелких лужиц, оставшихся на песке после отлива нахлынувших на него чувств — чистоты, смирения, братской любви,— словно пар подымаются слова, обволакивают их обоих...

— Нет-нет, я правду говорю. Вы не такая, как все... К счастью... Уверяю вас, не часто встречаешь... Но вы и сами знаете... Я чувствую то же, что и вы... «Золотые плоды» — из тех книг, которые...

— Ха-ха-ха! Все еще... До сих пор обсуждаете «Золотые плоды»?

Они прошли мимо, рука об руку, два великих человека, два аристократа духа, не сливаясь с плебсом, прошли мимо них, совсем близко, поглядели на них с

усмешкой. Они взглянули на них на обоих — две чистые души, два невинных младенца. Значит, отождествили его с ней — с этой юродивой? Два сапога пара... Они увидали — он наивничает, сентиментальничает, как она, он полон «идеалов»... Два сапога пара... Те все поняли... это видно по их хитрому взгляду, по иронической улыбке... открытую книгу прочли они, увидали и ее и его, поняли, как они оба довольны друг другом, угадали их сговор, приметили — они всегда так бдительны! — и обмен взглядами и пренебрежительные улыбки.

...Очень занятно... Бедняги... умственно отсталые, примитивный мозг, разве они могут судить, разбираться в таких тонкостях? Да, наверно, в них немало и косности и лени. Всегда падки на то, что полегче, на всякие сомнительные теории — тут и психология. и дешевый психоанализ, всякая болтовня... Надо же им за что-то схватиться, поднять себя... Но до чего они смешны... даже трогательно... помешаны на всем, что им кажется «искренним», «непосредственным»... забавно, до чего они любят всякие такие слова... Боятся всего конструктивного, лишенного украшательства, обнаженного, сухого, «мозгового» — одно из любимых их словечек — нет, они доверяют только своему «инстинкту», «чутью»; как щенки, которые при одном звуке ласкового голоса, восторженно визжа, падают на спинку, они сразу чуют все «правдивое», все «прекрасное», «живое», как они это называют. Словно все искусство не строится на холодном расчете, на искусных построениях, на вычислениях, условностях, словно язык, которым пользуешься при разборе этих явлений с максимальной эффективностью и предельной точностью, не становится поневоле языком эзотерическим... но этого слова они чураются больше всего, оно их отталкивает, приводит в ужас...

...Значит, те в одно мгновение заметили все, пронзили его насквозь, пригвоздили к ней, привесили им обоим одинаковые ярлыки... Все увидели, на ходу, не останавливаясь, не заговаривая,— только с улыбкой, с легкой милой насмешкой в голосе, как детям, бросили мимоходом

— Все еще обсуждаете «Золотые плоды»?

* * *

«Деревянные затычки в ухи — хо-хо-хо... это, милая моя барыня, и есть великая литература... Деревянные затычки в ухи» [1]... Ах, наш милый, наш великий Жарри! Как бы мы жили без тебя, чем бы мы стали?.. Вы бы на нее поглядели, на эту славную тетку: красная, как индюк, все перья дыбом: «Но, мсье, по-моему, «Золотые плоды» надуманны... Сплошная литературщина... Никакой реальности, в жизни все иначе...» «Деревянные затычки в ухи»... Вот это великая литература, милая барынька... вот это и есть реальность, как вы изволите выражаться... Она так перепугалась, будто я на нее напал; сейчас, думаю, закричит: «Караул!»... Вы бы на нее посмотрели — умора! «Но все это так искусственно... Настоящие чув-



ства настолько сложнее...» Он фыркает... «Нас, говорит, учили... в наше время мы уже знаем...» Что это вы знаете? Чему это вас научили?.. Тут бедняжка совсем вышла из себя: «То, что мы теперь называем реальностью,— совсем иное... За последние полвека столько новых открытий... Мы уже отошли... Я всегда старалась это объяснить...» — «Эх, дорогая моя барыня... — Он ка-

---

[1] Цитата из сатирической пьесы Альфреда Жарри (1873—1907) «Король Убю».

чает головой с притворно-задумчивым, серьезным видом.— Да что же такое, наконец, реальность?»

Жестом заклинателя он поднимает кверху большие руки, привыкшие растирать краски, управлять кистью, карандашом. Крупное, благородной лепки лицо изборождено следами титанического труда, смертельных схваток, открытый ворот не стесняет поворотов большой головы, он обводит всех пронзительным и зорким ястребиным оком: ну-ка, кто скажет лучше меня? Набирайтесь храбрости... Кто со мной поспорит? Выходи... Не бойся... Но кто же осмелится, кто решится — нет, тут каждый чувствует себя той перепуганной «славной теткой»,— кто же выйдет к рампе рядом с ним, на потеху веселым зрителям?

Лицо его становится очень серьезным:

— Недавно я сказал самому Брейе: «Знаешь, твоя книжка — просто прелесть. Я влюблен в Эстеллу. А эта сцена при луне... эти водопады, романтические беседки... нет, старик, это великолепно! Мы еще к этому вернемся...» А для вашей дочери, сударыня, это и есть, говорю, реальность, как вы любите выражаться. Именно этим Брейе дает ей почувствовать, что такое реальность... Она чуть не задохнулась: «Но ведь это сантименты для продавщиц!..» Я был восхищен: «Браво! Вот что нам нужно — сантименты для продавщиц!..» Но нет, кроме шуток, книга потрясающая. Знаете, как Брейе хотел назвать свои «Золотые плоды»? «Плеоназмы» — неплохо, правда? Мне ужасно понравилось. Отлично. А потом нашел другое название: «Золотые плоды». Прельстился иллюзорностью этих слов. Он мне сам говорил: «Хочу, чтобы читатель подох с голоду»,— это про таких дам, как та... — «хочу, чтобы те, кто, изголодавшись, собирается впиться в сочное яблоко, обломали бы себе зубы». Но зато для других какая это драгоценность! Плоды из чистого золота. И какая форма... Эта сцена в беседке... какое мастерство! Ей-богу, он настоящий эквилибрист, этот Брейе... Что? Вы не согласны? Согласны? А вы читали статью Моно? Блистательно! Он им всем показал... «Ноль». «Гэ-э-гантская штука»,— как сказано в одной переписке. «Ноль». Эта книга — ноль. Так он начал статью. Все голодные, все обиженные счастливы: ноль! Аннулировано. Все ан-

нулировано. Ничего не осталось. Стиль автора держит всех в почтительном отдалении. Внимание. Руками не трогать. Только смотреть. Есть нельзя. Услада для глаз. Никакой «реальности». Воплощенная вежливость. Предельная учтивость. Никакой фамильярности, никаких прикосновений, теплых дыханий — чистейшее созерцание старинных, тонких миниатюр. Чуть намеченные контуры героев, без нажима — предельное изящество. Для меня это просто наслаждение. А потом, к концу, автор отходит в сторону, с поклоном удаляется, контуры постепенно тают...

«Ах, мсье, этот герметический финал... Вы его поняли?» Брейе исчез вдали. «Пусть идут за мной только возлюбившие меня». Я-то, конечно, пошел за ним, еще бы!

Восторженный смех. И мы, мы тоже! Мы все пошли... Ах, какой вечер... Как нам повезло — Ортиль превзошел самого себя. Воплощенный интеллект. Ослепительно. Если бы вы его видели... Бывают же такие дни... Он — сама мудрость, сама душевность... Задушевная мудрость... это так редко бывает... Ах, если бы он не был художником, если бы не рисовал, не писал такие дивные стихи, какой потрясающий критик вышел бы из него!

* * *

— Должен сказать, что гениальность Брейе меня потрясла с самого начала... Задолго до «Золотых плодов». Когда вышел первый сборник его рассказов... Уже тогда. Поразительное явление.

Как выстрел, внезапно раздавшийся в мирной толпе гуляющих, заставляет всех после первых минут оцепенения толкаться, спрашивать, бежать, так в ней сразу вспыхивает смятение. Что же это такое? Что случилось? Как, средь бела дня, перед всем светом, да еще с таким цинизмом, с такой холодной наглостью он осмелился... Она не верит своим ушам, своим глазам, но ведь она сама видела... она твердо уверена... у нее и сейчас перед глазами... ясно, до мельчайших подробностей: в верхнем правом углу газетной страницы, на обычном месте, над толстой черной чертой, две колонки петита, а внизу... буквы сливаются, но она ее узнает, она ее видит: внизу — его подпись... Длинное трехсложное слово, без инициалов, без имени... он всегда так подписывается... Меттеталь, да-да, точно... она ее видит, она ее ощущает, эта подпись вросла в нее. И вокруг этого имени, как растрепанные клочья соломы вокруг столба, навиваются тогдашние впечатления, ощущения: легкая жалость к бедному Брейе — такому милому, такому тонкому, — легкое пренебрежение, смутное облегчение, сладковатое, чуть противное чувство удовлетворенности, а главное — удивление; как это Меттеталь, самый осторожный, самый сдержанный из всех, так решительно, так резко выступает против этого необычайного, не всякому доступного сборника рассказов, который многим влиятельнейшим критикам показался таким многообещающим. Нет, сомневаться нечего: ощущение крепнет, сильное, живучее, оно в ней. А этот Меттеталь пытался раздавить его, пытался исподтишка схватить, удушить.. Только что произошло подлое нападение... Гнусное преступление... Законный порядок нарушен, справедливость поругана.

Нет, надо во что бы то ни стало прекратить эту катавасию, эту душераздирающую борьбу с собой... Напрягая память до предела, она вглядывается... нет, может быть, то слово, в конце страницы, вовсе не «Мет-

теталь»?.. Полно, да уверена ли она, что там не стояло какое-то другое, тоже длинное слово, два слова... да не было ли между ними интервала? «Par interim [1]»,— может быть, так? Все эти впечатления, ощущения — да уверена ли она, что испытала их тогда, именно в тот раз? И память ей так изменяет, и она так устает... Часто забывает, часто путает... Она готова пожертвовать собой... Не лучше ли меняться самой, чем менять лицо мира? Ей становится легче... Никакого нападения не было. Справедливость не нарушена, по-прежнему царит законный порядок.

Но вдруг с новой силой в ней начинается борьба... Нет, ничего не поделаешь: слово тут, оно вырисовывается яснее прежнего... без малейшего интервала... одно длинное слово... последний слог встает на дыбы: т а л ь... Меттеталь... И вся статья — беспощадный наскок... Это бьет в глаза, растет, ширится, наступает, хочет смести все заграждения, вырваться наружу, чудовищной тяжестью обрушиться на виновника... Вот сейчас все выйдет на свет, все увидят, а он — она вздрагивает при этой мысли, представив себе эту картину,— он, сидящий тут, такой строгий, подтянутый, полный такого достоинства и уверенности в себе, он вдруг станет похож на того респектабельного, хорошо одетого господина с орденской ленточкой в петлице, которого возмущенная нянька вытаскивает из-за кустов на позор перед всеми прохожими... Нет, это немыслимо, надо во что бы то ни стало удержать слова, которые рвутся наружу, напирают... да разве их остановишь?... Она тянет их назад... не надо... тише, осторожнее... сейчас она сгладит углы, спилит острые шипы, завернет как следует в мягкое: как большие, слабо надутые мячи, ее слова легонько стукнутся об него, пощекочут чуть-чуть, чтобы он засмеялся — таким славным, добродушным смехом, таким приятным, добрым баском,— и она уже хмурит брови и поджимает губы с притворным неодобрением:

— Послушайте, Меттеталь, а ведь я вас поймала... оказывается, вы страшный обманщик...

---

[1] Здесь: вместо, заменяющий *(лат.)* Когда автора, ведущего какой-либо раздел, замещает другой, перед его подписью ставятся эти слова.

Ну вот, это же ничуть не обидно, разве на нее можно обидеться? Да и кого это заденет? А ей стало весело... Наверно, он пошутил, а может быть, и забыл про ту статью, а может быть (и пусть тот, кто не грешил, первый бросит в него камень) — может быть, просто захотел прихвастнуть? Ну вот, самое опасное сказано, теперь можно и договорить:

— Мне кажется...— и она шутливо грозит ему пальцем,— мне помнится, что вы не очень-то ласково обошлись...— она уже дала себе волю: — ...обошлись с Брейе именно в тот год, когда вышли его новеллы...

Он поднимает на нее выпуклые, пожалуй даже выпученные глаза — вот сейчас он усмехнется, покачает головой, как все взрослые, когда балованные дети — у, бесенята, никак с ними не сладить! — вдруг выкинут какую-нибудь шутку... Вот сейчас он на нее взглянет, со смехом покачает головой: «Да вы страшная женщина, вас не обманешь. Не дадите человеку прихвастнуть, приврать... Что ж, ничего не поделаешь, придется покаяться: ваша правда, помню, я только начинал писать и накатал статейку второпях, у меня и времени не было... я и сборник только просмотрел... да, тогда я действительно говорил...»

Больше ей ничего и не надо, больше ничего не нужно, чтобы угроза миновала, чтобы все свободно вздохнули. Мир. Справедливость. Гармония. Невинность, как на заре человечества. Радость. Наконец-то Истину вывели на свет божий, восстановили в правах, поставили на место, возвели на престол — и она воссияла, озаряя своими лучами очищенный мир...

Но Меттеталь только на миг останавливает на ней пустой взгляд и отводит глаза...

Что такое? Кто нарушает порядок? Кто она, эта сумасшедшая, эта бесноватая — носится по земле, босая, оборванная, в лохмотьях, вопит на площадях, бия себя в грудь, требует: покайтесь! — проповедует слово Христово, тычет крючковатым пальцем в сильных мира сего, издевается над существующим строем, возвещает о близости Страшного Суда. Толпа смыкается. Взгляды побивают ее, словно камни. Ее выталкивают, выгоняют. Снова сомкнулся круг правоверных. Миг — и вновь во-

царяется мир и покой. Пожатие плеч... Улыбки... Разве можно обращать внимание на бред этих слабоумных, одержимых? Нет, давайте серьезно.

— Слушайте, Меттеталь, объясните нам, пожалуйста... ведь у него как будто есть еще роман, неизданный, потрясающая вещь... написан между новеллами и «Золотыми плодами»... помните, вы нам рассказывали...

* * *

Да, вот это книга, черт возьми... Исследуй ее как угодно, режь вдоль и поперек — по горизонтали, по вертикали, по диагонали, разбирай с любого места, по любой схеме... И в каждом абзаце, в каждой фразе, в каждом предложении, в каждом слове, в каждом слоге — только сумей увидеть! — сколько неведомых сокровищ, какие богатые отзвуки, какие безграничные перспективы откроются перед тобой!



— А по-моему, «Золотые плоды» — презабавная вещь... Я так смеялась... Вот все говорят — грустный роман, трагический, а для меня наоборот... Там есть сцены... Помните — когда он опаздывает на поезд... или когда тот господин, ну, вы знаете кто, ищет свой зонтик — просто удержаться невозможно... Настоящий Чаплин. И какой стиль, какая сила... Сильней Чаплина. Честное слово. Великий комик. И никто этого не увидел. Разве об этом хоть где-нибудь было сказано? Тут все — и комедия и трагедия. Это характерно для всех великих произведений.

— Комедия? Чудачка эта Марта. Но это на нее похоже! Она считает «Золотые плоды» комедией...

— А вы знаете, она права. И я тоже... Читаешь некоторые главы и хохочешь до слез, до колик... Невероятно смешно...

Сколько юмора... И какой беспощадный. Мрачный. Да, мрачный, но какая чистота. Светлый. Простодушный. Хмурый. Пронзительный. Доверчивый. Улыбча-

тый. Человечный. Безжалостный. Сухой. Сочный. Холодный. Палящий. Переносит тебя в нереальный мир. В царство мечты. В самый реальный, самый настоящий мир. В «Золотых плодах» есть все на свете.

Как под лучами солнца, на этой плодородной почве распускаются самые удивительные цветы, вырастают несуразные, невиданные растения, играют и переливаются невероятно яркие, смелые, кричащие цвета, они резали бы глаз, но тут — о чудо из чудес! — они сливаются в законченное целое, полное гармонии и красоты.

— А вот я должен признаться... нет, боюсь, не смею... Не убивайте меня! — Шутливым жестом он загораживает лицо согнутой рукой.— Спервоначала я — mea culpa! [1] — начал читать, и...

Кажется, он их разыгрывает? Что он сейчас выкинет? Он такой непосредственный, такой милый, ребячливый — разве можно сердиться на его выходки?

— Да, прямо скажу — не понравилось: прочел первые тридцать страниц, зевал до одури, закрыл книгу и говорю Люс...

Он озирается с видом заговорщика и свистящим театральным шепотом произносит:

— Люс, не читай!

— Да не слушайте вы его, он от книги без ума... Ну что ты болтаешь, Ги?

— Конечно, потом... ведь я все-таки не полный кретин, не болван же я какой-нибудь... Потом, естественно... все-таки я захватил эту книгу с собой в отпуск, подумал: тут что-то не так, надо бы еще почитать, думаю — нет, старик, ты меня начинаешь беспокоить: видно, ты переутомился, дело неладно.

— И там с первого дня, мы и чемоданы не успели распаковать... Вы бы его видели — сидит на кровати, книжка перед ним, начал развязывать галстук — и все!

— Да, должен сознаться, меня просто пронзило... Потрясло... В пять утра я все еще так и сидел на кровати с книгой... Я и Люс разбудил...

---

[1] Моя вина *(лат.)*.

— Правда, он вдруг стал меня трясти... Ох, ну и книга, говорит... Читал не отрываясь, целые куски выучил наизусть, мы ни о чем другом не говорили, забыли все — обед, купание...

Есть те, кто жил до «Золотых плодов», и те, кто жил после. И мы — те, кто жил после. Отмечены навеки. Поколение «Золотых плодов» — так нас будут называть.

— Верно. Вполне с вами согласен. После «Золотых плодов» для меня что-то решительно изменилось. Настоящее землетрясение эти «Золотые плоды». Морской шквал. Иногда спрашиваешь себя — да кто же решится писать после этого?

Предел достигнут. Во всяком случае, тут, в этом направлении, путь перекрыт...

— Просто поразительно. Какое-то чудо, по правде говоря. Такого успеха не было с тех пор, как... дайте подумать... с каких же это пор?

— Ну, милый мой Жан-Пьер...— грозный палец укоризненно качается под самым его носом,— вы это говорите, лишь бы доставить нам удовольствие, знаем мы вас...

Он краснеет, теряется...

— Да что вы... Почему же?.. Почему вы так говорите?

В глазах — насмешливые улыбки, головы недоверчиво качаются... Э, нет, это было бы слишком просто.... так легко вам сюда не проникнуть. Прежде надо представить неопровержимые доказательства... в прошлом все должно быть чисто, незапятнанно... Ведь бывали определенные минуты, когда кое-кто совершал определенные, очень досадные ошибки, слишком много клятв и уверений давалось тем, кто тогда был в силе... Сначала было и какое-то неясное отношение, какие-то косые взгляды, затаенное молчание... Молчаливый подвох. Было — и это всем известно — много невысказанного. А кто говорил всякие слова? Их и повторить не осмелишься, это было бы слишком жестоко... Нет, к несча-

стью, кое-кто показал, что нет в нем чего-то существенного — ни особой чуткости, ни подходящего склада ума, ни какого-то особого дара...

Да, тут надо проявлять величайшую осторожность, ни в коем случае не допускать к себе столь подозрительных союзников, тех, кто перешел в наш лагерь в последнюю минуту, кто недавно обратился в нашу веру,— они же могут дискредитировать всю общину. Спокойно и твердо, едва заметным толчком и... очень неловко, но что поделаешь... есть случаи, когда жалость неуместна... Ах, этот Жан-Пьер... Лишь бы доставить нам удовольствие... Конечно, это очень мило с его стороны...

Но мы тут в своем кругу, мы — верные, мы — надежные, ни разу не дрогнувшие, мы, пронесшие — и сквозь какие бури, среди каких опасностей! — Неугасимый Светоч, мы можем сказать в полный голос — и говорим теперь, когда пробил наш час:

— Есть те, кто был до «Золотых плодов», и те, кто после.

И мы — те, кто после.

* * *



— Так о чем же у вас тут говорят в Париже? Что делается? Какой последний крик моды, последнее увлечение? Ведь я же провинциал, мужлан... Сижу в своем углу в затишье, разве что иногда докатываются какие-то слухи... А тут, кажется, все сходят с ума по этим «Золотым плодам»... Читал я, читал эту книжицу... Не знаю, как вам, а мне показалось слабовато. По-моему, в ней просто ни черта нет... Вот именно — ни черта, понятно?.. Пустое место. Нет? Вы не согласны?

— Нет... нет... — Он останавливается, качает головой, словно примерный мальчик, увидевший, как шалит его товарищ за спиной взрослых... ой, что он делает... ведь это запрещено, с ума он сошел, что ли... ой, как он ругается! Ему хочется зажать рот рукой, выпучить глаза, запрыгать весело и возбужденно, он чувствует, как его душит неудержимый смех... но он только может помотать головой.

— Нет? Вы не согласны? Бросьте, зачем притворяться? Вы меня просто разыгрываете... Не может быть, чтобы вам нравилось! Это же дешевка... Пустое место. И претенциозно к тому же... Да чего вы хохочете? Что вас так рассмешило? По-вашему, я говорю глупости?

— Да нет же, не в этом дело... Но вы... вам цены нет... Вы сами не понимаете... Ох, какая прелесть!.. Уморил...

— Что? Чем же это я вас уморил? Тем, что меня не проведешь, что мне дела нет до мнения всех этих снобов, этих кретинов?..

— Кретинов!.. Брюлэ, Меттеталь, Рамон, Лемэ, Парро — кретины! Ха-ха-ха! Ха-ха!.. Ох, дайте отдышаться... Вот бы кто-нибудь вас послушал... Ну, знаете... нет, вы даже не понимаете, до чего вы забавны!.. Если бы я только рассказал... нет-нет, не пугайтесь, я никому не скажу... Да мне никто и не поверит... Надо слышать своими ушами... Надо самим... нет, вы просто неподражаемы!.. Мне повезло, честное слово... Нет, давайте всерьез... Значит, вы считаете, что это дешевка? По-вашему, «Золотые плоды» — дрянь?.. Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ну, конечно, дрянь. И знаете что? Все ваши ссылки на авторитеты, на мнение всех этих Меттеталей и Лемэ ничего не изменят. Скажу вам прямо — мне на них наплевать. Хвалят что попало. И потом, знаете, в этих делах никаких авторитетов для меня нет. Не бывает! — Он гордо выпрямляется.— Тут надо доверять только себе самому.— Он бьет себя кулаком в грудь.— Себе, понимаете? Своим ощущениям. И я, я...— он колотит себя в грудь,— я вам честно говорю, смейтесь сколько угодно, но ваши «Золотые плоды» — чистая дешевка.

— Да я вовсе не смеюсь...— Он вытирает глаза.— Я не смеюсь.— Он чуть не плачет...— Сам не знаю... я же ничего не говорю, это же вы...— он с трудом выговаривает слова...— вы не представляете себе, до чего смешно... Нет, вы неподражаемы... Настоящий комик... ха-ха-ха... Ох, не могу... только подумать... нет, вы меня уморите...

— Только подумать, какую физиономию скорчат все эти ваши кретины, да?

— Ох, перестаньте, умоляю вас... Мне больно, я больше не могу... Значит... — Он еле справляется с приступами смеха...— Вы серьезно... считаете, что «Золотые плоды» — дешевка?

— Да, да, я своих слов обратно не беру. Можете хохотать сколько влезет. И говорить можете кому угодно...— Тот подымает руку в знак протеста.— Да, кому угодно, я краснеть не буду. И хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ничего в них нет, в ваших «Золотых плодах». Сплошная претенциозность. Отсюда и успех. Фальшивая таинственность. «Высокие темы». И все это в приподнятом стиле, слегка герметическом... действует

безотказно... а за всем этим часто скрывается... да-да, я вам скажу что́, хотя вам, наверно, будет смешно до слез: за этим скрываются страшно банальные мысли, чувства... и масса общих мест... иногда это просто ошарашивает...

— О-о, тут я должен вас остановить.— Смех резко обрывается. Лицо становится серьезным.— Нет, тут я вам должен сказать... Шутки в сторону. Тут вы действительно ошибаетесь. Знаете, что вам на это ответят? Вам скажут: послушайте, ну как же вы не видите, что именно это впечатление пошловатости, банальности, о котором вы говорите,— Брейе именно этого и добивался, он это сделал нарочно.

Мало кто осмелится схватить поэму, роман, чей блеск ослепляет глаза, и, стиснув в своем мощном кулаке, злобно нажимать на самые уязвимые места, надавливать... вот, смотрите, как тут слабо, как рыхло... сплошная мелодрама, бутафория, хлам... так вульгарно, так плоско...

И никто ни звука! — слушают, молчат. Смотрят, как те выставляются, опьяненные ощущением собственного свободомыслия, своей прозорливости, и сначала не мешают им нажимать изо всех сил, все крепче, крепче и с победными криками проникать все глубже. И вдруг, как выстрелом из револьвера в затылок, в них выпаливают: «Слушайте, да ведь все это сделано нарочно!»

И тот, в кого угодил выстрел, шатается, падает на землю, обливаясь кровью. С любопытством, с жалостью все склоняются над ним: так вот он, этот опасный силач, вот кто размахивал перед нами мощным кулаком, показывая: «Смотрите, люди добрые, взгляните-ка... вот, к примеру... только ткнул — и весь палец туда ушел... вот, ломаю пополам, сейчас вам покажу. С виду все такое цельное, здоровое, живое, а внутри гниль...»

Что с ним сталось теперь, с беднягой! Вот до чего довели его самоуверенность, легковерие, нечуткость. Но как может человек, пусть самый глупый, самый слепой, как, я вас спрашиваю, может он не видеть — да это же всем видно, это бросается в глаза: все эти «банальности», как он, жалкий человек, их называл, все

эти банальности, которые так его шокировали, все они вкомпонованы нарочно.

...Сломлено сопротивление, агрессор проник в самые сокровенные уголки, круша по пути все утонченные радости, все тайные наслаждения, этот восторг, это ощущение роста, подъема, которое они испытывали, когда, уединившись в своей комнате, они читали, иногда приостанавливаясь, чтобы вернуться назад, просмаковать или предвкусить всю полноту наслаждения, прежде чем снова, не торопясь, взяться за книгу, перелистать ее и медленно перечесть страницу, погружаясь кто знает в какую прохладную тень, в какие голубоватые глубины... А теперь все растоптано, разграблено, и грубые руки хватают это ваше скудное имущество, вышвыривают его вон: «Вот вам, смотрите. Вот что вы любили. Вот все ваши чудеса, все глубины, чаровавшие вас... Вот эти «правдивые» чувства, сладкой болью сжимавшие ваши сердца... Жалкие пошлости, рыночная поделка... Музей восковых фигур. Вульгарность. Поэтическая бутафория».

Они побиты, унижены. С помутневшим взором они ощупью ищут выхода, помощи. И вдруг под рукой, еще не разобрав, что это такое, они нащупывают что-то тяжелое, что-то веское... они хватаются за это, подымают, собрав остаток сил, и швыряют прямо в голову торжествующему врагу: «Да ведь все это сделано нарочно!»

Чудо. Вмиг меняется все. Агрессор шатается, падает под ударом, он сбит с ног.

Нарочно. Все сделано нарочно. Да неужели же вы этого не видите?

От удара его качает, искры сыплются из глаз, вихрь цветных огней. Он хватается за что попало — лишь бы не упасть: «То есть как это — нарочно? Слушайте, да разве это оправдание?.. Если автор сделал это нарочно — тем хуже для него...— Он выпрямляется.— Если он пишет пошлости — нарочно там или не нарочно — значит, у него нет вкуса, вот и все».

— Но ведь он нарочно — хотите верьте, хотите нет,— он нарочно пишет безвкусно!

Новый удар чуть не свалил его — он цепляется за что попало...

— Но тогда надо дать почувствовать...

— Все и чувствуют, кроме вас. Во всяком случае, люди понимающие никогда не ошибутся.

Изо всех сил он снова пытается найти почву под ногами: «Но тогда надо, чтобы это было очевидным... прикрывало что-то подлинное, настоящее... иначе можно принять эту банальщину...— Силы к нему возвращаются, он уже тверже стоит на земле.— ...Иначе можно принять эту банальщину за искусство...»

Он снова переходит в нападение, и они глядят на него с изумлением, они отступают, чтобы отразить наскок...

— Ведь все фабриканты скверного чтива, если хотите знать, делают это нарочно. В таких случаях это просто прием, понимаете? — Нет, их ничем не проймешь, они опять наступают на него: — Да, но тот, кто стряпает скверное чтиво, не понимает, что он пишет пошлости. А вот Брейе понимает. Он это делает нарочно, как же вы этого не видите?..

— А как я могу... отличить... Нет, погодите... Как... — Его голос срывается в мышиный писк: — Откуда известно, что он это делает нарочно?

— Известно — и все! — Они трясут его за плечи.— Известно, потому что он мастер своего дела, он не может ошибиться, он всегда знает, что делает.

Визгливый женский голос перекрывает всех:

— И он сам так говорит!

Тут уж и он орет во всю глотку:

— Ах, сам? Где? Кому?

— Да, он сам сказал, в интервью... Я слышала по радио... Он сказал: «Понимаете, я хотел писать литературно, традиционно...»

Он уже не узнает свой голос:

— Да ведь он, может быть, хотел оправдаться. Схитрил, понимаете... Схитрил... Куда же ему было деваться?

Нет, это уже слишком. Они налетают на него, молотят его кулаками:

— Как вы смеете?.. Вы... Да вы спятили... Он гений. Он это доказал. Забыли, что ли, молодой человек? Забыли, что он сделал... Какие изумительные книги...

— Изумительные? Что-то не видал!... Вся его пи-

санина — дрянь.— Он хохочет, как сумасшедший.— Дрянь, дрянь, дрянь, а вы говорите — нарочно... надо же... здорово придумано... ха-ха-ха-ха... нарочно... нарочно...— Но тут на него накидывают смирительную рубашку и уволакивают прочь.

— Удивляетесь небось? А? Но то, что они вам сказали — да, они всегда так говорят, эти умники, эти Меттетали, Брюлэ,— стоит вам только осмелиться, стоит только сказать, что вы нашли в «Золотых плодах» кучу банальностей, пошлых сантиментов... А что вы можете им возразить? Тут и вам, пожалуй, не выпутаться? А? Даже вам, непобедимому. На этот раз вы попались. Я бы и сам не прочь, знаете ли, если бы только суметь... Сознаюсь, я и сам иногда подумывал... Но меня всегда сбивает с толку этот аргумент...

— Что? Вас сбивает с толку эта галиматья? Будто он все это сделал нарочно? Ну, знаете, это уж слишком... Дальше некуда... И вы не шутите? Значит, и на самом деле есть люди, которых можно этим запугать?

— Представьте себе — да! Сам не знаю, что им на это отвечать. Тут ничего не скажешь. Стараюсь как-то защититься, но их не переспоришь — крепко сказано.

— Крепко? Да их доказательства рассыпаются при первом толчке!

— Чувствую, что вы, наверно, правы. Но объясните мне — почему? С ними словно попадаешь в сети. Бьешься, бьешься — и никак не выпутаться.

— Ну, я-то выпутаюсь, верьте слову!

— Да, но как? Как? Расскажите мне!

— Извольте: нельзя писать пошлости нарочно...

Он напрягает все силы... что за нелепость... бессмысленные слова... мокрое чудовище выскальзывает у него из рук... он пытается его схватить.

— И вообще, что это значит: «он хотел писать пошло»? Что это означает? Тут — область искусства, а не наших мелких личных наблюдений. Может быть, он хотел использовать пошлость как сырье для произведения искусства? Так, что ли?

Он крепко ухватил за кончик то скользкое, темное, что пытается вырваться от него,— нет, он его не выпустит!.. Произведение искусства. В этом-то и дело.

Он усмехается иронически, немного растерянно, как грузчик, который схватил в охапку большой тюк, думая, что он легкий... Мне это как перышко, вот увидите... и через два шага должен был опустить его на землю, покраснев от натуги, вытирая пот со лба... О черт, и не подумал бы... Да что у вас там? Свинца наложили, что ли?..

В его улыбке смущение:

— Послушайте, уж не хотите ли вы меня заставить прочесть вам лекцию?

— Да, да, прошу вас, объясните мне до конца. Тут нужна полная ясность. Вы так хорошо умеете... Надоело слушать, как все долбят одно и то же по любому поводу. Но ведь это далеко не так просто.

Он недовольно ерзает на месте.

— Нет, это *чересчур* просто. *Чересчур* явно.

— Да-да. Вы попали в точку: это настолько просто, что не сразу удается... настолько само собой разумеется, что невозможно дойти до сути...

— Да нет, вполне возможно... Этот ваш... как его там... ну, автор «Золотых плодов»... Да, да, Брейе... Пусть он хотел показать что-то пошлое, плоское, рядовое, банальное. Почему бы и нет? И пошлость, и глупость, и уродство, все что угодно, все может стать превосходным материалом для произведения искусства. Но ведь тогда и пошлость и бесцветность производят совершенно не то впечатление, как в «Золотых плодах».

Он останавливается — ему вдруг стало спокойно. Теперь оно у него в руках, целиком... Он перехватывает поудобнее:

— Нет ничего общего между тем ощущением, которое в вас вызывает пошлость непроизвольная, пошлость, так сказать, в сыром виде, нечистая, тошнотворная, подленькая, та пошлость, которую смутно ощущаешь на каждом шагу вокруг себя, та, что проникает в тебя, как въедливый запах, и тем ощущением, которое возникает, когда пошлость вам показывают в произведении искусства, в определенной художественной форме... Но я, кажется, ломлюсь в открытые двери...

— Нет, нет, говорите, вы сами не знаете, как много вы мне даете... Вот так и надо было им ответить...

— Но они и сами все знают. Они только притворяются. Делают из вас дурачка.

— Нет-нет, уверяю вас... Широкая публика даже и не пытается понять. Им говорят: это сделано нарочно, и в них это уже вколачивается намертво, они и не вникают — почему. И повторяют эти слова, как пароль, как талисман.

— Ничего он не стоит, этот их талисман. Если бы Брейе действительно хотел взять пошлость как материал, над которым он собирался работать, он профильтровал бы ее, сгустил: вышел бы экстракт пошлости, пьянящий, бодрящий, яркий, великолепный. И она не вызывала бы такого отвращения, такой брезгливости, как сейчас... Все воспринималось бы в отрыве... Она стала бы предметом искусства... восхищала бы нас... И мы сами были бы очищены от пошлости, спасены... Все воспринималось бы иначе, если бы Брейе это сделал нарочно. Но этого-то и не было. Может быть, его в чем-то упрекнули... может быть, он и сам слишком поздно заметил у себя общие места, страницы, где он не сумел овладеть материалом, и тогда в свое оправдание он и заявил: я это сделал нарочно.

— Да-да, ваша правда, конечно, он выкрутился... писатели часто так делают, обманывают людей... «Мелодрама, говорите? Ну, разумеется. Я того и добивался, черт возьми, как это вы сразу не поняли?» Собеседник сразу теряется, отступает, краснея от стыда...

— И все же я вам вот что скажу. Может быть, писатели и делают такие вещи нарочно. Может быть, и Брейе хотел... хотя я в это не верю, учтите... Но если он хотел сделать это нарочно, у него ничего не вышло. Он все задумал неверно. Он оставил всю эту банальщину в ее первозданном виде, и у него получилось бесформенно, неясно... Да, вот именно — неясно. Вот самое существенное. Читатель открывает все, как в жизни, собственным домыслом. На нем лежит вся работа. А писатель свою работу не сделал, его затянула эта банальщина, он поддался ее расплывчатости, путанности, он дал себя заразить этой пошлостью. Он ее никак не подчинил себе. Не произведение искусства он создал, а подделку. И все это плоско, как плоской кажется действительность при поверхностном взгляде.

Ну, вот я вам и прочитал лекцию. А вы, наверно, подсмеивались надо мной втихомолку. Разыгрывали меня. Да вы же все это знаете не хуже меня...

— Нет-нет, уверяю вас. Правда, я смутно чувствовал... Но для меня это клубок, никак не распутать... Вы не представляете себе, до чего это вредная штука такой аргумент. Вам его тычут в нос в любом случае. Стоит только людям встать на защиту какой-нибудь посредственности... ну, знаете, одной из тех книжонок, которые по неизвестным причинам... Я лично никогда не понимал, каким образом... но это случается постоянно... вдруг какое-нибудь абсолютно ничтожное произведение объявляется неприкосновенным. Руки прочь... Помните, когда все превозносили до небес этого самого... ну, как его? Как же его звали? Помните, года три назад... Ну, вы знаете, о ком я...

— Питюи? Вы про него?

— Да, да-да, да... про него, про него... ха-ха-ха!.. бедняга Питюи!.. Помните, открытие середины века... величайший гений...

Слившись воедино, как всадник и конь, они снимаются с места, летят...

— Да, Питюи... это ничтожество... вот была история... Да. «Форштевень», вот-вот... Так он как будто назвал свою книжонку?

Вместе, легко они берут препятствие, приземляются...

— Ну, это уж настоящая фальшивка, правда? И прескверная к тому же...

Ну-ка, мой верный конь, еще один разок, осталось еще одно препятствие, последнее, сейчас мы его возьмем вместе, мы победим, нет для нас препон, ну, давай, еще раз, последний круг, пошли...

— А «Маски» Бульи, что вы о них думаете?

— Про Бульи? Да то же, что и вы! Спору нет, он человек способный. Может быть, это совсем не так значительно, как говорят, но все же...

— Да, я с вами вполне согласен... Я думаю совершенно так же, как вы. Это, конечно, не пустое место, далеко нет... Тут нельзя относиться безразлично...

Снова, после прыжка расслабив мышцы, слегка покачиваясь, они идут шагом, они прогуливаются взад и вперед...

— Да, удивительное дело эти увлечения... вдруг ни с того ни с сего отдать чему-нибудь предпочтение перед всем на свете... и с какой страстью, с какой настойчивостью... А потом все идет прахом неизвестно почему...

— Да, потом все рассыпается... Правда, иногда на это нужны годы, целое поколение, а то и два... Некоторые репутации несокрушимы... Вот, например, Варанже... Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но вся его поэзия...

Что такое? Что случилось? Да ведь впереди ничего не было, не надо было брать ни препятствия, ни канавы, трусили рысцой, гуляючи, по совершенно ровному полю, и вдруг тот споткнулся, встал на дыбы:

— О, нет... тут я вам ходу не дам. Стоп. Что вы? Как можно? Варанже — это совсем другое, как вы можете... Его «Излучины» — настоящий шедевр. Тут место свято, никаких шуточек. Варанже — чудо!

Бедный всадник вылетает из седла, шлепается на землю в грязь, под копыта...

— Варанже — великий поэт, как Малларме. В наши дни ему нет равных... никто ему в подметки не годится... Он сильнее Валери...

Оглушенный, дрожащий, весь в ссадинах, всадник вскакивает на ноги, бежит следом... Стойте, не бросайте меня, подождите... сейчас догоню.

— Нет, я вовсе не отрицаю его всего, целиком... Я признаю, что Варанже в первых своих вещах... В молодости он писал превосходные стихи...

— Ну нет. Ничего подобного. Конечно, его юношеские стихи прелестны, но зрелые произведения гораздо выше, прекраснее. Сила, мастерство пришли к нему куда позже. Погодите... У меня память неважная... Но вот, к примеру, это из сборника «Истоки», вот послушайте, что вы скажете? *И беглые кремни медлительного дня запечатлеют все амфоры неба* — как, по-вашему? Да, тут ничего не скажешь — красота! А это: *И пламя и лазурь...* — м-ммм, — *мою ночь... врачуют...* Нет... не так... Нет... Ага, вот... Поразительный образ:

И пламя и лазурь бичуют ночь мою. Да, все в этом томике великолепно, все без исключения.

Погодите, сейчас догоню... Нельзя же так бросать... мы ведь были вместе... слились неразрывно в одно целое, вместе взяли столько препятствий, вместе топтали копытами покоренный мир. Нельзя так грубо бросать верного спутника... Я не могу остаться один, как прежде, я не вынесу — опять блуждать без поддержки, шататься от толчков... Не хочу расставаться с вами. Я нащупываю путь к вам... Ага, кажется, нашел, схватился за что-то, вы тут, я вас чувствую... *И пламя и лазурь бичуют* (почему «бичуют»? Впрочем, это не важно, «бичуют» — очень красиво!), *И пламя и лазурь бичуют ночь мою.*

И, отметая от себя все сомнения, он дает проникнуть этим словам. *Беглые кремни. Лазурь. Амфоры. Пламя и небо.* Надо только поддаться, не сопротивляясь, не напрягаясь... ничего, все в порядке... так говорят при промывании желудка, когда вам вводят в пищевод толстую, воняющую резиной кишку... сейчас пройдет как по маслу, вот увидите, вот уже прошло! *Ночь. Лазурь. Амфоры неба...*

Он внезапно чувствует облегчение... Такое приятное, почти знакомое чувство, такое домашнее, как от тех блюд, которые ел в детстве, как от неприхотливого и нежного вкуса кашки, булочки с маслом, молока... *Лазурь. Лазурь и пламя неба. Бичи ночи. Амфоры. Запечатленные истоки...* Зачем же удерживаться, лучше поддаться, расслабить мышцы... впустить в себя... Красиво. Очень красиво. *И пламя и лазурь...* Нет, не проглотить... входит с трудом... скользкое, противное. Хочется выплюнуть, он весь сжимается, его сводят судороги...

— Нет, знаете, не могу... Ничего не попишешь... Это же все мертвечина... сделано холодным сапожником, все это безжизненно, подгримировано под модные вкусы, все тот же старый материал, те же бессменные поэтические приемчики... Набор обязательных слов, вся поэтическая бутафория... Ничего не поделаешь, мне это невыносимо, тут я с вами расхожусь...

На эти отчаянные вопли тот, другой, оборачивается с удивлением, с легким сочувствием,— тот, у которого

желудок, как у страуса, дурацкая улыбка, он бесчувственный, грубый... и это его, несчастного раба, он взял себе в приятели, возвел на трон, поклонялся ему, польщенно жал протянутую руку этого циркового короля в картонной короне, этого лжепророка... И его он считал своим спасителем, своим верным спутником. Как он при этом гордился, что похож на него, что они идут рука об руку и оба, напыжившись, издеваются над теми, кто восхищен «Золотыми плодами», «Форштевнем», хохочут над ними в один голос... Тупой гогот грубиянов, пьяная болтовня бродяг... Хлопают друг друга по плечу, идут под руку, чуть не падают... «Го-го-го... Говорят — нарочно!.. Го-го-го, лопнуть можно... А ты мне скажи, ты, доктор, знаменитость, ты-то как думаешь? Нарочно или не нарочно?» — «Нет, погоди...— Рыхлый палец описывает кривую в воздухе, касается кончика носа.— Говоришь, нарочно сделано, старина?.. Нет, это же не выдерживает критики... Погодите, я вам все объясню...»

Жирный голос... Икота... И он-то, он сам, с блаженной физиономией, разинув рот, смотрит на того сияющими глазами, смеется кретинским смехом...

* * *



Поймали. Попался в ловушку. Убежать невозможно. И как всегда, сам виноват. Все из-за деликатности, великодушия, как он называет в утешение себе эту свою слабость: вот и сейчас — и так всегда с ним бывает — он не мог устоять перед самой пустячной похвалой, он краснеет, теряется, он смущен, он сдался...

— Нет-нет, вы преувеличиваете, вы слишком добры... Я написал эту статейку так быстро, она просто вылилась из-под пера. Надо бы побольше времени... Но вы говорите, что Брюлэ... Нет, я просто не ожидал от него...

Еще, ну еще хоть немножко, он весь потягивается — до чего приятно... вот-вот... погладьте еще, почешите спинку...

— Да-да, у вас, наверно, уши горели. Если бы вы только слышали, как Брюлэ вас хвалил. Кстати, именно он, Брюлэ, обратил мое внимание... Потому что я сам... видите ли, для меня в «Золотых плодах» что-то не совсем... А Брюлэ сказал мне: «Прочтите статью Парро. Это открытие. Вы будете сражены».

Ему хочется просить пощады... нет, это уж слишком... он издает испуганный смешок:

— Ах, неужели? А я хотел переделать... Я был так недоволен собой...

— Нет, статья превосходная. Лучшее, что вы написали. Такая полнота... такой блеск... Но... один маленький упрек, если разрешите...

— О, конечно, прошу вас...— Он готов принять все, он в восторге: после этих ласк такой чуть заметный, восхитительный укус...

— Одно только возражение, но вы не обидитесь?

— Обижусь? Что вы, напротив... говорите, не стесняйтесь... Это же куда полезнее всяких комплиментов... Так редко люди говорят с тобой откровенно...

— Так вот, единственный упрек вашей статье — статье, во всех отношениях замечательной,— это нехватка цитат.

— Верно, да-да, это правда. Может быть, вы правы... надо было...

— Потому что мне, вы понимаете, мне тогда стало бы яснее... Потому что читаешь вас... Так прекрасно написано... И говоришь себе... я себя то и дело спрашивал — не слишком ли много вы в них вкладываете своего, в эти «Золотые плоды»?.. Не преувеличиваете ли вы?.. Вот если бы вы сейчас согласились... Я давно решил — как только встречу вас... Вот, книга со мной... Хоть какой-нибудь отрывок... чтобы я отдал себе отчет... Хоть несколько строк, на выбор, по вашему вкусу, чтобы мне стало виднее...

Сейчас еще не поздно. Он мог бы откинуться резким толчком на спинку кресла, развалиться и с едкой, иронической усмешкой на губах оттолкнуть рукой протянутую книжку и, не дрогнув, посмотреть прямо в глаза этому нахалу: «Да вы что, мой милый? Вы шутите?.. Вот чего захотели — доказательств! Представить вам улики, что ли? Хотите меня проэкзаменовать, так? Хотите, чтобы я вас стал убеждать, что я вас не обманываю, что у меня действительно хороший вкус?»

Он мог бы взломать прутья клетки, в которую он позволил себя загнать, разнести ее на куски, выйти оттуда и увидеть, как трусливо отступают все вокруг, бросив того несчастного простака на произвол судьбы.

Нет, он этого не сделает. Он не из тех зверей, не из тех хищников, которыми руководят темные инстинкты,— никогда их не поймать, при малейшем шорохе, шуме они напрягают мышцы, глаза свирепеют, клыки обнажаются — и одним прыжком они бросаются на врага. Нет, он не такой.

Ведь для того, чтобы позволить себе оттолкнуть этого человека, своего ближнего, который с таким дове-

рием, с таким трогательным простодушием обратился к нему, этого доброго малого, который так жаждет чему-то научиться, так полон доброй воли, восхищения, для того, чтобы решиться проявить по отношению к нему столько высокомерия, ему самому понадобится тщательно проанализировать, глубоко вникнуть во все «за» и «против» и с полным правом решить, что перед ним просто симулянт. И кроме того, не лучше ли для очистки совести, во избежание риска — хоть он и невелик,— риска оттолкнуть настоящего калеку,— не лучше ли подать милостыню симулянту? Кроме того, в данном случае нет никаких оснований думать, что человек с таким открытым, добродушным лицом, который запросто подает ему книгу, собирается как-то подловить его. Что за выдумки? Что тут подозрительного? Все нормально. Все в порядке. Раз мы что-то утверждаем, мы должны подкрепить свои слова примерами. Наш читатель имеет на нас определенные права. Положение обязывает.

Он берет книгу, открывает: «По правде говоря, вы меня смущаете... но, конечно, если вам так хочется... в «Золотых плодах» все прекрасно... любое место...»

Но что случилось? Куда девалась эта нежная свежесть, этот пушок... где эта грациозность, небрежная, словно безотчетная... эта линия... эта вибрация... У него перед глазами что-то неуклюжее, тщедушное, жалкое, бесплотное... застывшее в претенциозной, жеманной позе... Он переворачивает страницу... Нет, не то, не годится... Ага, кажется, вот!.. Нет, и тут тоже... Да что это с ним стряслось?

А все идет от «них» — от этого человека, который спровоцировал его, а теперь наблюдает за ним, молчит... И что-то есть в его молчании, в молчании всех, кто сидит вокруг выжидательно, недоверчиво, что-то тянется от них, словно высасывая из прочитанных им слов все соки, выпуская из них кровь... и слова пустеют, высохшие, жалкие скорлупки...

Он переворачивает еще страницу... Тут слова словно отвердели, заблестели слишком сильно, точно лакированные... кажется, что теперь из молчания сидящих, из их взглядов идут какие-то токи, истекает какое-то

вещество, обволакивает все... Как под воздействием гальванопластики, все покрывается слоем звонкого металла.

Нет, надо рассеять наваждение, отвести дурной глаз, надо схватить что попало, швырнуть в них, не медлить... Ну, например, вот тут... этот отрывок, по-моему, восхитительно. В начале главы, когда Оливье смотрит в окно, перед тем как уйти из дому...

Собрав все силы, он пытается отвести зловредные флюиды, исходящие от них... И вот в этих словах, в этих фразах появляется едва заметное набухание... слабая пульсация... И он решается, он откашливается... но как только он произносит слова вслух, они, как мыльные пузыри в прокуренной комнате, сразу съеживаются, опадают, от них ничего не остается, да ничего и не было...

— Нет, это не то... это не очень хорошо...

Он переворачивает страницу, листает дальше... нельзя терять ни секунды... они ждут, они насторожились...

— Не понимаю, почему я так медлю... Взять хоть это... Великолепный отрывок... Изумительно...

Ну же, побольше смелости, покажи им... Неужто они забыли, кто он такой? Неужто ничего не осталось от его престижа, его могущества?

Нет. Он все потерял. Он один, нищий. Его вытащили из укрепленного убежища, где он скрывался, из крепости, созданной вокруг него его трудами, его книгами, статьями, его стилем — жестким, высокомерно замкнутым, непроницаемым, его языком — чеканным, как бронзовые мортиры с точным и беспощадным прицелом, держащие неприятеля на почтительном расстоянии.

И он сам согласился покинуть крепость. Он принял вызов и теперь в одиночестве идет навстречу врагу по открытому полю. Но страх прошел — положение обязывает. Его голос звучит ясно, громко... ни тени дрожи... Он читает медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, как будто вкладывает в него заряд, чтобы придать вес каждому слогу и метнуть его изо всех сил в молчаливых слушателей, собравшихся вокруг него.

Но легкие, сверкающие слова вспархивают лишь на миг и опадают, рассыпаются прахом у его ног. Голос у него сдает, он начинает хрипеть, торопиться, ему хочется бежать, но его окружают все тесней — его пожирают глазами: так вот что он нам предлагает, вот какие сокровища он нам нахваливал, этот знаток. Жалкие ошметки... Глубже вдавливая лупы в глазные орбиты, они наклоняются, потом, выпрямившись, смотрят на него... И вдруг он слышит смущенное покашливание: «Очень красиво».

«Очень красиво». В заданный момент, без секунды задержки, без сучка, без задоринки механизм сработал, тяжелая машина наехала на него, на них, раздавила все в лепешку.

«Очень красиво»... как медведь лапой. Он упал, раздавленный, весь в крови, и все от него отводят глаза.

Глаза пустые, без всякого выражения, чуть косят вбок: бедняга ждет помощи, подачки... но никто не решается, все смущенно роются в карманах, и только она одна... Вот, у меня нашлось то, что ему нужно, вот вам, папаша, берите: «Очень красиво».

Повелительным взглядом она обводит присутствующих: неужели все забыли, что каждый человек благородных кровей и в присутствии свергнутого короля продолжает соблюдать правила придворного этикета? Смотрите, я показываю вам пример: перед этим павшим величием с печальной почтительностью, с душевной грустью, с сожалением я склоняюсь, как прежде, в поклоне: «Очень красиво!»

Все они заговорщики, понимают друг друга с полуслова, тепло прижались друг к другу,— а он в одиночестве, в отрыве от всех, он, сделанный из другого теста, он, лишенный чуткости, он ни в чем не отдает себе отчета; он не способен — будьте покойны! — увидеть фальшь, насмешку. С ним и осторожничать не надо, тут что ни наплети, все сойдет. Он будет доволен чем угодно, лишь бы бросилось в глаза; и подчерк-

нуто громко, раскатывая «р», чтобы вышло убедительней, вздувая каждое слово фальшивым восхищением: «Очень кррр-а-а-а-си-ии-во!»

«Очень крр-асиво»... Среди молчания — взрывом — эти слова. Они впиваются, как осколки. Ощупью он находит их, извлекает те, что вонзились вглубь, ранили: их презрение, их затаенный сговор, их убежденность, что он бесчувственный, неумный... Он вытаскивает эти осколки, выпрямляется, гордый, зоркий, он заставляет всех опустить глаза под его ясным взглядом:

— Нет, по-моему, вы преувеличиваете. Этот отрывок в лучшем случае можно считать просто удачным. Да и вообще такое чтение, наугад, мало что может дать... Впрочем, может быть, я вообще ошибаюсь...

* * *



— Хоть бы кто-нибудь мне объяснил... Так хочется, чтобы вы мне сказали... Это необычайное явление... действительно заслуживает самого пристального изучения...

Нарушая все молчаливые соглашения, все тайные договоры, преступая все правила, предписываемые уважением к людям, продиктованные внутренней стыдливостью, презрев все запреты, он бросается напролом, пренебрегая препятствиями, ловушками, стоящими на его пути... вот они, перед ним, но он отлично их видит, он их знает.

— Да, знаю, я смешон. Смешно играть роль Альцеста [1], но мне все равно, это не важно...

Одним прыжком, с улыбкой он взял барьер, помчался...

— Нет, вы мне объясните непременно, должно быть, я болван, чего-то я не понимаю... Как случаются такие вещи, какой тут скрыт внутренний двигатель?.. Гораздо менее важные явления уже изучены, определены... А этим вопросом стоит заняться... Искусство...

Он чувствует, что поскользнулся, и тот смотрит на него подсмеиваясь, видит, как он пошатнулся — вот-вот упадет... Но он сразу выпрямляется:

— Нет, я не об Искусстве с большой буквы... вообще не будем говорить «искусство» — слово слишком значительное... скажем просто — литература, это точнее... и все-таки она имеет большое значение... для многих людей играет огромную роль... Так вот, как же случается, что все время присутствуешь при каких-то

---

[1] Персонаж комедии Мольера «Мизантроп».

невероятных переменах отношения, и никто не удивляется... никто не обращает внимания... Вроде массовых галлюцинаций — все эти внезапные увлечения, без всякой видимой причины... И ведь они охватывают всю литературную братию сверху донизу... Знаменитые критики, писатели — все, как один человек... Вот сейчас, например... эти «Золотые плоды»... Вы помните, что происходило еще совсем недавно? А я не забыл, как однажды я только глазом моргнул — да что я говорю «моргнул», разве я посмел бы? — наверно, у меня нечаянно что-то дрогнуло внутри, совсем незаметно... но другие, если только они настороже, сразу замечают, чувствуют, непонятно как...— и одна особа тут же призвала меня к порядку с такой уверенностью, при поддержке всех: «Как, вам не нравятся «Золотые плоды»?» Я хотел было что-то ответить, но она посмотрела на меня с такой угрозой... «Знаете что,— говорит,— если вам эта вещь не понравилась, это бросает тень на вас, а вовсе не на «Золотые плоды», на этот шедевр...»

Тот слушает, молчит — ведь на него напали сзади, схватили в охапку, стиснули, но он и не думает отбиваться. Застыл как деревянный: пусть его щиплют, царапают, толкают — он притворяется мертвым.

— А потом мне показалось — верно или нет? — что в последнее время что-то стало меняться... Какой-то перелом... Уже никто вам ничего не навязывает, сразу меняют тему... что-то носится в воздухе... какая-то сдержанность... Почему так, вдруг? Что произошло? Только не говорите, что они в чем-то разобрались. Это было бы слишком хорошо. Но кто станет перечитывать? Кто будет вникать? Кому придет охота рассмотреть пристальнее, подробней? Нет, тут словно все сговорились. Но по какой причине? Как? Где? Ведь не существует никаких критериев ценности. Вы смотрели выставку знаменитых картин 1900 года? А? Какой урок! Чудовищно!

Силы его утраиваются от возмущения, от гнева, в дикой жажде разрушения он сотрясает все здание. Пусть все рушится, пусть раздавит всех — и его вместе со всеми...

— Доходишь до того, что спрашиваешь себя: неужто даже они, эти...— и его губы святотатственно про-

износят священные имена,— да останутся ли они? Может быть, все вообще сплошная липа, а? Как знать?

И вдруг инертное тело, маячащее перед ним, задвигалось, зашевелилось:

— Скажите, пожалуйста, а вам, в сущности, не все ли равно, вам-то какое дело?

Гигантская волна захлестывает его, сбивает с ног, валит на землю. Он бьется, как насекомое, сдутое порывом ветра, отчаянно машет слабыми лапками в воздухе, пытаясь за что-нибудь уцепиться...

— То есть... то есть... как же так... Как это — «какое дело»?

Его подымают, сажают на палец, рассматривают вблизи:

— Смешной вы... Никак не повзрослеете. Чего-то требуете, чем-то возмущаетесь, будто вы подросток. Детский максимализм. Вам непременно все надо знать — что хорошо, что плохо. Вам необходимы какие-то нерушимые правила, которые должны применяться везде. Вам во что бы то ни стало нужна какая-то одна правда, которой все обязаны подчиняться, чего бы это ни стоило. Вы террорист — вот кто вы такой, мой милый... Но искусство, как вы говорите, но всякое произведение искусства никакой установленной ценности не имеет. Это всем известно, это очевидно. Конечно, ошибаются часто, это естественно. А как узнать? Кто посмеет сказать «я знаю»? Даже для самых проверенных временем ценностей, для шедевров прошлого все меняется — то от них неожиданно отрекаются, то их бурно превозносят... Вот Стендаль, помните, совсем недавно... А потом все затихает. Почему? Потому что вкусы меняются. В определенные моменты возникают определенные потребности. А потом нужно другое. Как вы можете помешать людям следовать за модой — и в этом, как и во всем? Кто ошибается? Что останется? А что, в сущности, значит «останется»? Останется — для кого? До каких пор? Как предугадать? Возьмите греческое классическое искусство, как его обоготворяли... И как оно померкло... Но, быть может, придет день, и его снова превознесут до небес...

Чавкает почва под ногами... его засасывает... Вот в какую трясину он бросился, вот какие болота хотел освоить с киркой, с факелом в руках...

— А «Золотые плоды», раз вы уж о них заговорили... Вам они как будто не нравятся. А я их всегда защищал. Может быть, я и не прав. Разумеется, это далеко не совершенство, там можно найти много слабых мест, но я лично считаю, что это ценная книга. Знаете, может быть, вы сами через несколько лет вернетесь к ней и скажете себе: да, я был слишком строг, слишком нетерпим...

Куда ни глянь — ничего не видно, только серая топкая зыбь. Над ней подымаются мертвые тени, мягко колышутся от невидимой ряби...

— Во всяком случае в определенный момент худо ли, хорошо ли, но эта книга многое значила для людей... и для самых выдающихся... Правильно? Неправильно? Откуда нам знать... Останется ли книга? Почем мы знаем?.. И между нами говоря, какое это имеет значение?

* * *

Да, это были незабываемые минуты. Ни за что на свете она не хотела бы их упустить... А вот они всё проморгали. Ей так жаль их, так за них обидно... Нет, это было увлекательно... Царил форменный террор. Никто и пикнуть не смел. Стоило кому-нибудь отважиться на малейшее сомнение, как его начинали третировать свысока, обвиняли в тупости — остолоп, кретин. Даже между собой, с глазу на глаз, в полной тайне они едва-едва, шепотом позволяли себе... Но они-то, она с Жаком, они-то наговорились всласть, будьте уверены... Бывало, вернутся домой совершенно обалделые и допоздна, до рассвета обсуждают, возмущаются... Потому что — надо прямо сказать, не хвастаясь,— он, Жак, с самого начала не поддавался. Жака ничем не проведешь. Никакой болтовней его не заморочишь. Пусть хоть весь мир сговорится, самые великие умы, самые знаменитые критики, его, Жака, не заставят переменить мнение ни на йоту.

Она не перестает восхищаться им... Только из-за таких людей, как он, чистых, цельных, стойких, только благодаря им всегда утверждались истинные ценности. Они — скалы, о которые разбиваются все валы конформизма, инертности, истерии. И чем больше времени проходит, тем яснее, что произведения искусства гибнут или обретают бессмертие только от непобедимой силы их убеждений. Благодаря таким людям искусство идет вперед. А что они, в сущности, делают необыкновенного? Жак часто говорит ей об этом при всей своей скромности, отрешенности: надо только дать себе волю, только отдаться своим чувствам, держаться за них, не давать ничему вторгаться, всегда вступать в непосредственное личное соприкосновение с данным объектом... что может быть проще? Если бы все были такими, как он — независимыми, непосредственными, внимательными,— они бы тоже ничего не упустили, они тоже пережили бы такие минуты. Но она на них не сердится, наоборот: теперь, когда борьба окончена, когда страсти утихают, теперь, когда наконец можно выйти из подполья и на полном свету развернуть все перипетии борьбы, рассказать о многих подвигах, теперь ей хочет-

ся, чтобы все они приняли участие — только мысленно, конечно, ведь действовать уже поздно! — ей хочется заставить и других пережить то, что пережили они, первые бунтари.

Бывали дни — и приходится в этом сознаться,— когда и она сама колебалась. У нее появлялись сомнения. Она помнит, как после разговора с Меттеталем—он тогда дал честное слово Меттеталя, что если есть в наше время книга, которая останется, то это именно «Золотые плоды»,— она, вернувшись домой, снова открыла эту книгу, и — должна, к своему стыду, признаться — ей показалось, что это прекрасно. Но Жак стал над ней подтрунивать. «Погоди,— говорит,— сейчас ты увидишь, сейчас я тебе покажу, как это сделано... Это очень занятно...» Да, она искренне сочувствует этим людям, она понимает, как они сожалеют, как им грустно... Хорошо хотя бы и после победы позволить им высказаться, дать им возможность искупить свою вину... Приятно заставить тех, кто еще брыкается, хотя бы сделать вид, что они тоже сочувствуют... Времена теперь другие, все изменилось. Еще год назад — да, всего год — ни один человек ни за что на свете не отважился бы рассказать такое...

— Да, Жак мне так и сказал: «Сейчас я тебе покажу, чего это стоит»... Ушел к себе в кабинет минут на десять, а когда вернулся... Да что с тобой, Жак? Не хочешь, чтобы я им рассказала?

Ну, конечно, не хочет... Конечно, у него нет ни малейшего желания их удивлять, завлекать, он вовсе не собирается их переубеждать... Зачем это нужно? Не все ли равно, что они думают? Они же ни черта не понимают. Он делает легкое движение, хочет поднять руку, остановить ее...

А зачем? Разве ее удержишь, когда она очертя голову бросается на защиту справедливости, хочет всем внушить истину. Как будто истина и справедливость нуждаются в ее защите... как будто раньше или позже, вопреки всему... Но ей надо во что бы то ни стало ускорить ход событий, опередить судьбу.

По наивности она уверена, что стоит только очень громко крикнуть, очень решительно заявить... Как видно, она воспринимает людей лишь чисто внешне. За их неподвижными лицами она ровно ничего не видит. Ничего, кроме податливого материала, которому она может по желанию придать любую форму, и думает, что ей это удалось, когда в их улыбках, в их взглядах она читает то, что ей хочется прочесть. Сейчас она ничего не видит, кроме вежливо-любопытных глаз, дружественного ожидания. И она бросается вперед, топча их самолюбие, наступая змеям на хвосты. Она не видит, как перед угрозой нажима хотят их заставить отдать самое свое дорогое — свое сочувствие, свое восхищение, — о, как они ненавидят всякое насилие! — как перед этой угрозой они сразу вскидываются, собирают все свое пренебрежение, всю иронию, все свое критическое чутье, с которым, кстати, дело обстоит неважно, и все это в ту минуту, когда становится ясно, что и Жак со своим нежеланием выставляться и она сама с ее настойчивостью напоминают им те великолепно натренированные пары — ясновидящую с ее партнером, всех этих Люков и Люкетт, которые бросают вопросы и ответы с эстрады в зал, перед изумленной и недоверчивой публикой.

Но пусть они видят и думают что угодно. Во всяком случае вмешиваться поздно. Он умывает руки — пусть рассказывает, что ей заблагорассудится...

— Нет, почему же... Мне только кажется, что...

— Да что ты, Жак... Нет, вы только послушайте... Это так увлекательно, честное слово... Жак возвращается минут через десять... Да, через десять минут, не больше. И знаете, что он мне показывает? Страницу из Брейе, которая как будто вырвана прямо из «Золотых плодов»! Все в ней есть. И это прославленное обаяние... Это изящество... Ритм, интонация, образы, ощущения... Клянусь вам, не отличить. Но это еще не все... Подождите!

Они ждут: какой еще трюк им сейчас покажут? Какими фокусами их хотят удивить?..

— Сейчас расскажу. Это было неподражаемо... Однажды вечером, когда к нам зашел один из самых ярых поклонников «Золотых плодов»... я предпочитаю

его не называть, но он — великий знаток, он их изучал очень подробно, хвалил на всех перекрестках, я вдруг вздумала... хотя мне, сами понимаете, было очень страшно... показать ему текст Жака, конечно, написанный на машинке, Жак никогда не пишет от руки... Я ему сказала — не знаю, какой бес меня иногда толкает... я понимаю, нельзя было это делать, нехорошо... но мне так хотелось узнать, и я ему сказала: «Хочется услышать ваше мнение. Один приятель дал мне страницу из Брейе. Она должна была войти в «Золотые плоды», а потом Брейе ее вычеркнул, нашел, что это уводит от темы, хотя я не понимаю почему. Прочтите. Что вы об этом скажете?..» И знаете, как он реагировал? Знаете, что он сказал?

Жак смотрит на нее беспомощно — он парализован, он не в силах ей помочь... а в них, в этих людях, как на горячих углях, уже что-то раскаляется до́красна, разгорается... он слышит... что-то шипит, посвистывает... но она смело бросается вперед:

— А вы знаете, что он сказал? — Нет, они не знают.— Он сказал: «Это изумительно. Лучшее, что написал Брейе. Чудо, говорит, чистейшее чудо. Лучшая его страница». Тут Жак — я сразу увидела,— Жак почувствовал авторскую гордость... Да-да, Жак, не отрицай, пожалуйста!.. Весь напыжился — вы бы на него посмотрели. Ведь тот, наш приятель, не скупился на похвалы. Разбирал каждую фразу. Открывал в ней бог знает какие сокровища... замыслы... Говорит: «Тут больше силы, больше зрелости, чем во всех «Золотых плодах». Грандиозно. Гениально. Послушайте, какой образ. Какой ритм в этой фразе...» Если бы вы только слышали... Умора... Но под конец я перепугалась... Этого я не ожидала, так далеко заходить я вовсе не собиралась... а сознаться не смела... Но смешно было до колик...

Точка. Выступление окончено. Что они теперь скажут? Неплохо, а? Красивый номер...

Но никто ни с места. Чего же они ждут? Она прислушивается к себе, мысленно пересматривает всю сцену, проверяет каждую деталь — убедиться, что все отработано на совесть, не сомневаться... Она качает го-

ловой... о-ла-ла! — о, как это было смешно... она смеется... легкий смех журчит ручейком, хочет их увлечь за собой... ха-ха-ха... умереть от смеха...

Голос, слегка охрипший, произносит не сразу, с напряжением:

— М-да... должно быть, это было забавно...— Тяжело падают тягучие слова: — Могу себе представить... Но, должен признаться, мне, по правде говоря, не совсем ясно, что это доказывает?.. Что можно доказать такой вот шуткой?

— То есть как? — Она испуганно озирается.— То есть как «что можно доказать»?

— Вот именно — что это доказывает? Лучшие произведения искусства можно подделать... — Голос крепнет, становится уверенней.— Можно блестяще подделать Шекспира. Моя дочь только что написала прелестное письмо от имени мадам де Севинье.

Она волнуется, она вся кипит:

— Но, Жак, как же это... ведь ты сам...— Хоть бы он что-нибудь сделал... он такой умный, такой сильный...— В ее глазах, устремленных на него, в ее детском личике немая мольба...— Ведь ты сам, Жак, ты тоже считал...— Сейчас он непременно постарается... Сейчас, когда она — бедный маленький воробушек... попала в эту переделку — он так и знал,— конечно, он ее не бросит.

— Нет, простите, тут я с вами не согласен. Я считаю, что моя жена права...

— Ах, вы так считаете? Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста...

Ну вот... Только зачем она так волнуется, вся дрожит, она же этим мешает ему собраться с мыслями... вот сейчас, сию минуту он найдет... но сначала надо быстро парировать удар, схватить то, что у него всегда под рукой, что он держит про запас на такие случаи, схватить и швырнуть в них, чтобы выиграть время, удержать их на расстоянии — так человек темной ночью, окруженный стаей волков, торопливо чиркает спичками и бросает их в зверей, заставляя их отступить:

— О, прошу вас, не заставляйте меня ломиться в открытые двери...

Сначала они несколько теряются — он так и ожидал,— беспорядочно топчутся на месте, толкаются. А потом — он и это предвидел, но ему важно было выиграть время — самые смелые из них, самые умные, те, кого эти короткие, сразу гаснущие вспышки ничуть не пугают,— они подходят, блестя глазами, и другие следуют за ними в отдалении.

— Да, ломиться в открытые двери... Все это, конечно, хорошо, но... Но все-таки, будьте добры, объясните. Наверно, нам надо объяснять самые простые вещи.

— Что же, пожалуйста! — Теперь у него в руках то, что надо.— Видите ли, это очевидно: если подражание лучше того, чему подражают — ведь это главное! — если то, что копируют, оказывается хуже копии... Если можно сделать...

— Но одна страница — что она значит? Я могу написать страницу, как будто взятую из «Адольфа», и она покажется вам лучше, чем страница «Адольфа»... Ну и что из того?

Она больше не может, она должна вмешаться:

— Но если это действительно лучше, лучше...

Жак подымает руку, словно отстраняя ее, нет уж, пусть она их предоставит друг другу, теперь она мешает ему:

— Нет, что вы... Тут уж я с вами никак не соглашусь. Одной страницы достаточно, одной-единственной страницы, написанной действительно лучше, чем у Бенжамена Констана, я хочу сказать — по-настоящему лучше, сильнее во всех отношениях,— одной такой страницы вполне достаточно. Никаких сомнений быть не может. И тут уж, конечно, Бенжамену Констану как писателю плохо придется.

— Почему? Подражатель может оказаться гораздо талантливее Констана.

У многих на лицах появляются улыбки. Не поворачивая к ней головы, он чувствует на себе ее взгляд — нежный, беспокойный, чуть жалостливый. Но хорошо смеется тот, кто смеется последний. Сейчас их нахальные улыбки исчезнут...

— Да вы понимаете, что́ вы берете под защиту? По-

нимаете? Знаете ли, что значит, когда копия лучше оригинала? Знаете, что вы тут превозносите? Просто-напросто чистейший академизм!

— Ого, убил!.. До чего же вы боитесь слов...

— Нет, я слов вовсе не боюсь. Но слова что-то значат, не так ли? И академизм тут — точное слово. Послушать вас, так фальсификатор может оказаться гениальнее творца оригинала... В том-то и дело, что нет. Потому что копия мертва, по са́мому своему существу мертва... В ней нет ощущения спонтанности чувств, новизны, нет прямого контакта с нетронутой, непознанной сущностью... Вот в этом и есть академизм. И вы превосходно это знаете...

— Вовсе нет... смотря что... Великие мастера копировали...

Отягощенные знанием головы опускаются, слышно перешептывание.

— Лафонтен и Эзоп... Шекспир и Марло... А сам Расин...

Но тут властный жест останавливает этот безудержный поток:

— Бросьте, это несерьезно, что вы... Жак прав: в этих случаях о подражании говорить не приходится. Они заимствовали сюжеты, но какое значение имеет голый сюжет?.. Просто повод... Нет, тут вам Жака не побить. Его ошибка совершенно в другом. И к этому я хочу вернуться. Важно другое. Что значит для целого романа одна страница? Тут может ошибиться самый искушенный знаток. Повторяю: этой игрой можно забавляться, взяв любого автора. Значима только вся вещь в целом. Важна согласованность всех частей, стройность конструкции... Важно место этой страницы в общем контексте, то, как она освещена со стороны... важен тот импульс, то скольжение, которое она дает дальнейшим строкам,— зачин, который в ней заключен... Впрочем, тут не о чем спорить... Одна страница, даже подделанная мастерски, еще ничего не доказывает... Абсолютно ничего...

— Нет, тут я должен возразить. Каждая страница играет свою роль. Тут каждая черточка на счету! Каждая фраза заставляет жить, заставляет возникнуть ощущение, чувство, даже мысль, вот именно — мысль. Каж-

дая фраза — это живое движение, передающее неповторимое чувство... Это не просто пустой жест... И если этот скопированный жест, эта инертная академическая форма, да, повторяю — академическая,— если она вдруг окажется лучше — в этом вся суть, это всего важнее,— чего же тогда стоит то, что служило образцом, я вас спрашиваю, чего оно стоит?

Кажется, они сговариваются... переглядываются... о чем-то советуются шепотком... видно, задумали новый план... Значит, все-таки, по его мнению... Но что он сказал? Значит, для него возможна только одна форма, только она идет в счет... Нет, погодите... внимание... А Джойс, что он скажет о нем? Погодите, давайте спросим его...

Как при игре в шарады, один из них от имени всех остальных — все на него смотрят, весело улыбаются, тише, молчите все, пусть он один отвечает! — один из них с нарочито серьезной миной берет слово:

— А Джойс, который позаимствовал внутренний монолог у Дюжардена?.. Как вы это объясните? Ну?

Ага, попало!.. Поглядите, как он растерялся, дрогнул, проводит рукой по лбу...

— Но ведь внутренний монолог... Ведь тут, вы понимаете... Тут нельзя сравнивать. Джойс взял только технический прием. Он не имитировал форму целиком...

Что это он лопочет, они никак не могут ухватить мысль... Техника... Прием... Форма... Все это разные вещи... Тут какая-то путаница...

— Нет, погодите, суть вот в чем... Не в том дело... А суть в том, что внутренний монолог... это не просто прием... — Его голос крепнет.— Это одна из сторон психической жизни, которую хотел выявить Дюжарден...

Но тут со всех сторон раздаются голоса: «Еще лучше. Браво. Теперь победа за нами. Вот к чему вы пришли. Значит, по-вашему, Джойс имитировал самую суть, а вместе с ней и форму. Значит, Джойс — если рассуждать по-вашему — академический писатель».

— Да нет же, нет, нет! — Он уже кричит на них.— Вот именно, Джойс пошел гораздо дальше. Ничего общего между его внутренним монологом и монологом Дю-

жардена нет. Джойс внес туда свою собственную сущность. Свой мир. Джойс гораздо выше...

— Ах, Жак, зачем ты споришь? — От нетерпения, от гордости она ломает все преграды: — Ты же сам сказал: Джойс куда выше! Но, значит, и ты, Жак, ты тоже...

— Правильно, дорогая. Уговорила. Теперь я окончательно убедился...

Как тореадор, который проходит по арене, небрежно волоча свой плащ и ловя на лету с непринужденным изяществом уши и хвост быка, шляпы и туфельки, которые ему бросают, он отдает поклон:

— Благодарю. Я потрясен. Рядом с автором «Золотых плодов», по сравнению с этим Брейе я — Джойс!

* * *

— Вот так и случилось, что книги, пустые сами по себе, каждый старался чем-то наполнить. Самые чуткие, самые умные люди вкладывали туда — и с какой щедростью — все свои богатства. В небольшом объеме находили изысканную прелесть... в неясностях открывали бог знает какую полноту смысла!.. А потом эти книги словно опустели... трудно было вынести такую нагрузку... и они приняли свой первозданный вид, стали тем, чем были на самом деле: пустыми... сбивчивыми... плоскими... банальными... жалкими потугами... И если кто-нибудь сегодня еще хвалит их, он всем кажется неумным, отсталым. Такие книги всегда попадаются, их и сейчас много. Взять хотя бы самые последние... вот, взгляните...

Небрежный посох тычет в это стадо... Все одинаковые, все одной породы, они послушно сбиваются в кучу, теснясь и толкаясь, трутся пыльными боками, и «Золотые плоды» тут же, среди других.

То, что предчувствовалось в каких-то умалчиваниях, в некотором охлаждении, в едва заметном обмене взглядами, улыбками, в тактичной сдержанности, в осторожных пересудах, теперь возвещается на всех площадях, расклеивается на всех стенах. Нельзя держать людей в неведении: все те, кто вблизи или издалека, открыто или тайно, в темных закоулках совести до сих пор относится к «Золотым плодам» с восхищением, нет, даже с простой доброжелательностью, с некоторым сочувствием, все те, что и нынче связываются с этой книгой, защищают ее, ищут ей оправдания, находят смягчающие обстоятельства — словом, как-то поддерживают ее словами или мыслями, — все они дураки.

Мы же тут люди одной породы, правда? Одного цвета кожи, одной расы, одной веры, одного круга. Спаяны воедино. Среди нас нет и не может быть ни одного изгоя. И потому с убежденностью, делающей честь нам всем, с твердой уверенностью, что я никого не заставлю покраснеть, с братской откровенностью я могу взглянуть вам прямо в глаза и громко повторить

то, что каждому уже известно: те, кто и посейчас восхищается «Золотыми плодами», — дураки...

А вот меня это жжет, мне от этого плохо... эта братская, эта наивная откровенность, которая озаряет нас — и в ее горячих лучах все лениво и блаженно потягиваются, греются, загорают,— мне от нее тошно, голова кружится, вот-вот будет солнечный удар, мне надо защититься, сейчас встану, загорожусь от света вот этой ширмой: «А вот мне лично, должен сознаться, «Золотые плоды» очень нравятся».

Вот. Значит, я дурак. Я дурак — пусть все видят. Еще миг — и я обнажу перед ними тайный знак, который ношу, то несмываемое клеймо, которое они сами на мне поставили, и чувство стыда, какой-то неловкости заставит их отвести глаза.

Да, мне нравятся «Золотые плоды»... Не могу удержаться, что-то с силой напирает изнутри, как горячий фонтан, подымается к лицу: сейчас прорвется, хлынет вон, забрызгает их, зальет, всех нас собьет с ног, как гейзер, бросит друг на друга, мы покатимся — где наша выдержка? Волосы мокрыми космами свисают на лоб, одежда липнет к телу, вымокла насквозь...

Мне нравятся «Золотые плоды», и я сейчас скажу это вслух, и, как только пройдет первый момент паники, они встанут, приведут себя в порядок, поправят как следует прически, с некоторой брезгливостью отряхнут и одернут платье, все станет снова аккуратно и чисто, и всем — даже мне — станет легче: они снова соберутся в одну кучку, а я — меня отгонят прочь, в сторону, на место, туда, где и подобает быть мне, чужаку, мне, парии.

Издалека они будут смотреть на меня: человек схватился за голый электропровод. От «Золотых плодов», которые я никак не могу выпустить из судорожно сжатой руки, идет ток, он пронзил меня, я прикован к месту, все мое существо окаменело, застыло в одно целое: в дурака.

Они смотрят на меня с жалостью, но никто мне помочь не может, никто не рискнет спасти меня... Стоит им только протянуть ко мне руку, коснуться меня хоть кончиками пальцев — и всех их пронзит тот же ток, он приварит нас друг к другу, свяжет в жалкую, нелепую цепь, и другие стали бы смеяться над нами, если бы им не хотелось плакать: «Ах, дураки несчастные»...

Никто меня не может спасти... Но я, я сам... Как же я осмелился издеваться над ними?.. Я сам... Да ведь это от меня помимо моей воли исходит ток, он пробегает сквозь все, чем я восхищаюсь, собственная моя глупость окрашивает все, что мне нравится... я чувствую это... И если я о себе хорошего мнения, это значит только одно: я дурак. Я — пуп земли, я — ось, вокруг которой все концентрировалось, все вертелось, я, чей взгляд — стоило мне только захотеть! — мог проникнуть за грани пространства и времени, я — единственное мерило всего сущего, я — центр тяжести Вселенной, я смещен, снесен... Все шатается... меня отбросило в угол, я верчусь вокруг собственной оси, стиснутый в узком пространстве, ограниченном моей близорукостью, я пойман в игре зеркал, бесконечно отражающих тот нелепый, идиотский образ, который я, сам того не зная, придаю всему, чего коснусь.

Нет, это неправда, это немыслимо, не верьте... Погодите... Тут нет ничего рокового, ничего предопределенного, это же не врожденное, неисправимое, как цвет кожи, как раса, как кровь, нет-нет, тут просто вопрос вероисповедания, вопрос убеждений, и я отлично могу — видите, я уже начал,— я могу оторваться от самого себя, отойти, посмотреть на себя со стороны, я волен изменить свой облик, перейти в другой лагерь... В последнее время переходило столько людей, самых умных, им это даже в укор не ставили, никто их не попрекал... Мне, разумеется, потребовалось бы больше времени, но ведь никогда не поздно, правда?.. И лучше поздно, чем никогда.... Вот так... теперь я прекрасно могу встать на прежнее место... в центре... на вершине, откуда перед моим взором покорно расстелется весь мир... теперь я могу обрести былое достоинство и согласиться пере-

смотреть свои мнения, в конце концов только об этом и шла речь, о том единственном пункте, в котором я с вами расходился. Но я тоже подвержен заблуждениям, в конце концов и я мог ошибиться... «Золотые плоды»... м-да, погодите... Откровенно говоря, у меня сохранилось только смутное представление... надо будет еще раз воскресить их, вызвать их образ перед собой.

Пусть вернутся, пусть приблизятся... Но они убегают от меня... все скользит, стирается, я не могу ухватиться... Нет, подождите, я справлюсь... Вы дали мне форму для отливки, я не хуже вас умею с ней обращаться, и вот невидимое вещество уже вливается в нее, принимает нужные очертания... я вижу... что-то неопределенное, по правде говоря, неумелое... даже простоватое, вот именно... старомодное... похожее на бесцветные мечты молодых девиц в незапамятные времена... воспитанниц монастырей... всяких Клэр д'Эллебез... Альмаид д'Этремон... Что же это со мной было? Как я только мог... И как это столько людей вместе со мной... Странно... Куда же все делось?.. Никак не найду...

И вдруг словно флюиды, словно какое-то излучение, свет... я не вижу источника, он остается в тени... что-то идет ко мне, крепнет... Что-то пронизывает меня... словно вибрация, модуляция, ритмы... как будто хрупкая и четкая линия постепенно вычерчивается с настойчивой мягкостью... словно арабеска, искусная и наивная... она слабо искрится... кажется, что она сейчас отделится от темной пустоты... Но сияющая черта становится все тоньше, стирается, словно впитанная тьмой, и все затухает...

Нет, то, что исходит от «Золотых плодов»... эти волны, эти звучания... этот легкий звон — то, что идет ко мне от них и от меня к ним, как по однородному веществу,— этого ничто остановить не может. Пусть люди говорят, что им угодно. Никому не дано помешать этому взаимопроникновению, этому осмосу между нами. Ни одним словом извне нельзя нарушить это слияние, такое естественное, такое полное. Как любовь, оно дает нам силы выстоять против всего. Как влюбленному, мне хочется скрыть это чувство. Лишь бы посторонние не видели, что происходит между нами, лишь бы не

приближались к нам — вот все, о чем я их прошу. У меня нет ни малейшего желания переубедить их. Я не нуждаюсь в их одобрении. Мне не нужны их восторги. От любого их слова, вспорхнувшего или мимолетно задевшего нас, я отшатнусь, уйду в себя, ощетинюсь всеми своими колючками. Я притворюсь мертвым. Глухим. Слепым. Уставив в пространство пустой взор, я не стану смотреть, как они встречаются глазами, как их взгляды стараются вселить друг в друга уверенность, взаимопонимание, собственное превосходство. Я не стану смотреть на их глупые, сияющие самодовольством физиономии.

Но какая-то сила возносит меня, увлекает, ломает все мое сопротивление, покоряет мою волю — сила столь же непререкаемая, как голоса свыше, повелевавшие тем, кого избрало Небо, отречься от мирной, спокойной жизни, от всех земных благ и принять мученический венец во имя торжества слова господня, сила столь же мощная, как та, что заставляет революционеров жертвовать жизнью. И во мне тоже бушуют истина и справедливость, священный гнев звенит в моем голосе, слова во мне наливаются, пульсируют, бьют фонтаном:

— Все-таки я должен сказать...— их взгляды в удивлении обращаются на меня,— что я с вами совершенно не согласен. Для меня «Золотые плоды» — изумительная вещь. Я их просто обожаю...

И тут, в тишине, наступившей после этого взрыва, я снова становлюсь спокойным. В том же стремлении дойти до масс, которое заставляет и миссионеров, проповедующих Евангелие дикарям, и революционеров, убеждающих темную толпу, искать простые слова, способные проникнуть в глухие души, в затуманенные мозги, я сейчас без труда выбираю слова, понятные им сразу, расхожие, привычные для них слова.

И я говорю им мягким голосом: «Видите ли, меня поражает в «Золотых плодах» законченное мастерство, какой-то особенно четкий замысел... Было бы куда легче проникнуть в глубины, копаться во всяких сложностях... было бы куда проще услужливо выкладывать всякие переживания, мучения... А тут взамен всего — эта простота, порой, казалось бы, доходящая до банальности...

но какими гигантскими усилиями она достигнута... Ценой каких жертв... И она рождает — с каким неподражаемым искусством! — ничего не говоря прямо... с изумительным целомудрием,— ощущение пустоты, безнадежности... Не знаю почему, но «Золотые плоды» напоминают мне Ватто... В них я вижу ту же хрупкую грацию, ту же нежную печаль... А этот финал... поразительный... когда все тонет в неизвестности... Мы вдруг оказываемся в полном недоумении... Да, «Золотые плоды» для меня — один из лучших метафизических романов... И поверьте моему чутью: нужны были феноменальное мастерство, сверхъестественная отрешенность, чтобы не дрогнув довести до конца такой замысел...»

В ответ я слышу сдержанный смешок: «Какой там замысел... Да вы шутите!.. Ох, сразу видно, что вы не знаете Брейе!»

Вы не знаете Брейе... Очень просто. Этим все и объясняется. Мы отлично понимаем. Вам все прощается... Ничего не бойтесь... Что с вами может случиться? Тут, в своем кругу, и разговора быть не может, что вас надо исключить, осудить... Какие глупости!.. Как можно даже представить себе такой скандал! Вы же наш человек, вы здесь среди своих, не забывайте!

Из их глаз, как из землечерпалок, на меня ковшами сыплется их уверенность в нашем общем превосходстве над всеми, в нашей солидарности... даже минутами в этом песке мелькают блестящие золотые крупинки их восхищения мной... Ах, это горячее, вечно юное сердце... ах, отчаянная голова... Неисправимый энтузиаст, вечно готовый броситься на защиту гиблого дела, все готов раздать нищим, он так богат, так щедр... и так скромен... всегда готов уйти в тень... он забывает, что все, чем он восхищается в «Золотых плодах»,— все это он сам в них вложил... Честное слово, невыносимо думать, что он дал себя одурачить такому, как Брейе,— человеку, который ему в подметки не годится. Нет, надо его защитить, надо ему открыть глаза... Вы бы сами все поняли сразу, если бы только познакомились с Брейе, только узнали его, как знаем мы... Ничего, это вполне поправимо, мы вам покажем... Сейчас сами увидите... у нас у всех безошибочный глаз... Подойдите-ка к нам поближе,

станьте вплотную, бок о бок... видите, как удобно... вот, сейчас вы увидите, сейчас вы удивитесь.. Ну-ка! Кто ему покажет?.. Да мы все, все... мы дрожим от нетерпения... дайте я, позвольте... я ему все расскажу... Хорошо, пусть вы, Жан-Пьер, вам и книги в руки...

— Ну что вы... Впрочем, пожалуй... Я давно знаком с Брейе... задолго до того, как он прославился. Должен сказать, что меня всегда поражал его дурной вкус... какой-то банальный образ мысли... Чем он только не восторгался — дурацкими сплетнями, пошлятиной... Настоящая кумушка... Он мог даже... Помнишь, Жан, как мы застряли во время бури в горах... в хижине? Да, в Эгий-де-Гутэ... Он, видите ли, и альпинизмом занимался!.. Да, погодите... Мы делали вылазки в горы... небольшие походы... он сам не очень сильный, да и не так чтоб очень храбрый... но самолюбив, но хвастлив до чертиков... Всю ночь трепался, рта не закрывал... Как же не помнить... Измучил всех... А знаете, что у него было дома?..

Пойдем, входите, кто хочет... дворец пуст, король свергнут с трона и бежал... гуляй где угодно, ройся в чем попало... открывай ящики, раскидывай постели... смотри, какие альбомы, какие фотографии... Ну и ну!.. Вот чем они занимаются, великие мира сего!.. Смотри, что он переплел!.. Честное слово, клянусь вам, посмотрите, вон какие тома!.. Он собирал комиксы, Пим-Пам-Пум, Никелированные Ножки... он их читал часами... А коллекция пластинок... глазам не веришь... Вы только послушайте — самые дрянные шансонье... самый вульгарный джаз... Давай вынюхивай, высматривай, никто нам не помеха... Нам все нужно... дневники, письма, исповеди, забытые на дне ящиков рукописи, сплетни современников, воспоминания выгнанных слуг... Все сгодится... Для нас нет ничего святого. Никаких запретов. Даже тех, чьи труды должны были бы вселять уважение, даже их не пощадили. Напротив. Именно от них, от их интимной жизни исходит что-то особенно сладостное для нас, нас это успокаивает, утешает, вселяет уверенность, что все мы, в сущности, одинаковы, стоит только приглядеться, все мы люди-человеки, все похожи, конечно, кроме одной детали — их трудов... Но этого мы не касаемся, это мы им охотно оставляем...

ведь это чистая случайность, странный нарост, вроде какой-то болячки, да, мы готовы признать — это, конечно, чудо... трудно объяснить... но что касается всего остального, как это похоже на всех — столько находишь тут слабостей, столько лени, халатности, столько незрелости, испорченности, даже иногда такую низость, что нам, надо сознаться, очень трудно не чувствовать вполне законного превосходства.

Но когда речь идет о Брейе... когда книга создана по образу и подобию автора... когда тут никаким чудом и не пахнет, мы должны признать, и, по правде говоря, не очень-то охотно — какая нам от этого радость, чем это нас может возвысить, я вас спрашиваю? — мы можем с полной уверенностью сказать: вся эта простота, вся эта наивность, которыми вас так восхищает Брейе... никакого замысла в этом нет... Он же сам все принимает на веру, даем вам слово. Он больше ничего и не мог дать. А этот непонятный конец, который так всех огорошил... причем никто не осмелился сознаться, что он ничего не понял... но ведь и сам Брейе его не понимал, это ясно как день... Он просто потакал моде... Хитер, ничего не скажешь... Но что с вами? Смотрите, как он побледнел... видно, расстроился... ох, уж эти мне романтики, эти неисправимые мечтатели... им бы все витать в облаках... бродить по цветущим лугам... дышать воздухом горных вершин... «Ватто»... Слыхали?.. Чего они только не выдумают? «Ах, какое изящество... какие высоты, какие глубины... метафизические переживания, неподражаемые сложности»...— простите, что мы смеемся... Да, грустно, конечно, когда тебя вдруг вырвут из всего этого, вернут на землю, сюда, к нам, грешным, к низменным фактам, к непритязательной правде. Но что поделаешь, приходится подчиняться, правда все пересилит. Раньше или позже, как ни старайся, от нее не уйти...

Нет. Погодите. Тут что-то неладно. Я никак не ухвачу, в чем дело... но чувствую — тут какая-то фальшь... какая-то нарочитая подделка. Надо мной смеются... Куда ж это я попал? В какую компанию? В какой игорный притон? Вы жульничаете... Вот доказательство...

Сейчас докажу... Ведь Рембо тоже, слышите — сам Рембо, и все же кто из вас посмеет придраться к его стихам? Никто, правда? Это святыня... Так вот: Рембо совершенно как Брейе... Рембо тоже любил всякие вещи: идиотские картины, бездарные эротические романы, детские книжки, глупые песенки, устарелую литературу... Рембо тоже... как Брейе...

Они разом выпрямляются, беспощадные, плечом к плечу, слившись в одно целое:

— Послушайте, но ведь то...

Я защищаю лицо рукой, весь сжимаюсь...

— Слушайте, но ведь то — Рембо!..

* * *



Ох, бедняга, как он отбивался... Больно было смотреть... Только послушать, как он уверял всех в своей невиновности, приводил алиби... Да, он находился под влиянием, он это и не отрицает. Разве от этого уйдешь?.. Но что тут дурного? Зачем скрывать? Имена? Пожалуйста! Он только и ждал, чтобы их назвать. Может быть, даже он сам... он был готов признаться, если бы так случилось... бывает... человек помимо воли... ведь ни по отношению к искусству, да и вообще ни к чему другому так, вдруг, ничего в тебе не возникает... О, нет, нет, только не это... Этого не было. Того, что ему приписывают. Нет, нет, это неверно. В корне неверно. С теми людьми он и не встречался. Он только знал их понаслышке. У него есть на то свидетели. Можете их допросить, они вам скажут, когда, в каком году они ему впервые рассказали о тех самых людях... Они наверняка этого не забыли... Их тогда еще очень удивило, что он и тех книг никогда не открывал, не прочел ни строчки. Да, он знает, этому трудно поверить, но если опросить самых эрудированных из нас, в нашем чтении неожиданно откроются гигантские пробелы. Пусть все эксперты мира признáют его виновным, он неустанно будет утверждать, что они ошибаются, что они ни в чем не разобрались,— между ним и теми людьми нет ничего общего, никакого сходства. Они сразу увидят это, стоит им приглядеться к нему внимательней. Потом они пожалеют — тем хуже для них... Он выкрикивает эти

слова, обезумев от гордости... Нет, то, что скрыто в «Золотых плодах», то, что их отличает от всего написанного раньше, это он сам открыл, это его собственность... всегда ему принадлежало... Никто не смог стать между ними, с самых ранних лет он ощущал эту связь, прямую, непосредственную... это его чувства, они так свежи, так чисты, так новы... они выросли из самых сокровенных глубин его души... Это его внутреннее «я» как бы само нашло для себя форму, помимо него...

Поистине трогательно видеть, до чего они все похожи, до чего у них одинаковые иллюзии. Каждый убежден, что именно благодаря ему совершилось чудо, он его открыл...

Но пусть они протестуют, пусть просят и молят сколько угодно, мы непоколебимы. Ничего не поделаешь, нас не обмануть. У нас такой склад ума, что в нем содержится вся мировая литература, расписанная и разрезанная на карточки, как лото — на нумерованные квадратики. Как только появится что-то незнакомое, мы сразу берем его, вертим во все стороны. Ну-ка, покажите. Дайте взглянуть на этот билетик. Какой у него номер? Ага, вот как. Погодите... вижу... Вот где ему место, вот его клеточка... Иногда находишь не сразу... но это так увлекательно, сначала волнуешься, потом успокаиваешься, для нас нет ничего занятнее этой игры, когда...— ага, вот она, держу... передайте-ка сюда, дайте мне.

Бывает, что молодой ветреник, еще даже не осмелившись воплотить свой замысел, полный энтузиазма и надежд, ослепленный гордыней, вдруг в нетерпении начинает выставляться перед нами:

— Знаете, я еще никому не говорил... Послушайте, какая мысль мне пришла в голову... Внезапно, по вдохновению... Что, если это ощущение, которое во мне растет и крепнет, что, если его заставить как-то поворачиваться вокруг своей оси, все выше и выше, и тогда под натиском своего собственного движения оно пройдет по всей книге, закручиваясь спиралью...

— Спиралью! — Мы хватаемся за это слово.— Движение по спирали? Погодите. Мне это что-то напоми-

нает. Внимание. Будьте осторожны. Знаете ли вы, что это уже давно сделано?

И он весь сразу сжимается, съеживается. И все его чувства, как цвет яблони под порывом холодного ветра, вянут, жалобно обвисают, вот-вот опадут.

Всегда полезно при случае заранее принять меры, чтобы потом не было лишней работы.

Смотрите, до каких эксцессов доходит дело, если вовремя не вмешаться. До каких беспорядков, до каких галлюцинаций, до какой истерии. Все захлестывает, нет сил остановить этот поток. И бывает, что иногда довольно долго — возьмите, к примеру, «Золотые плоды»,— иногда долго приходится терпеть...

Но в конце концов все приходит в норму. Мы неустанно стоим на страже. По всем улицам дефилируют наши люди-сандвичи, на плакатах огромными буквами написано: ВСЕ УЖЕ СКАЗАНО. НЕТ НИЧЕГО НОВОГО ПОД ЛУНОЙ. На всех площадях наши проповедники успокаивают народ: «Умерьте смутные сожаления, перестаньте мечтать, устремляйтесь к более верным, более полезным целям, излечитесь от чувства неполноценности. Вам не о чем жалеть... Вам незачем волноваться. Искать нечего — все равно вам ничего нового не найти: все уже сказано».

Но иногда — чего только не случается — вдруг в толпе какая-то женщина, какой-то мужчина падает на землю, бьется в припадке, царапает лицо, кричит: «А Рембо? Рембо?..» — и тогда, осторожно пробираясь сквозь взволнованную толпу, к припадочному подходят, гладят его по голове, успокаивают: «Так ведь то — Рембо, вы понимаете... Зачем так расстраиваться, кричать!.. То был Рембо... Успокойтесь. Не надо бояться... Мы — правило, а Рембо — исключение».

Все в порядке. Усопшие — и те, что недавно скончались, и те, что умерли уже давно,— все они распределены по категориям—малые, средние, великие, каждый покоится на своем месте. Взгляните, какой порядок мы навели. Мы их вскрыли, классифицировали, перенумеровали, и теперь все великие набальзамированы, пропитаны парафином, подгримированы — лежат, как жи-

вые. День и ночь стоит на часах неподвижная стража, из поколения в поколение пристойно дефилирует мимо них молчаливая толпа.

Но даже они, великие, те, что чувствовали себя такими свободными, независимыми, смелыми, те, что думали — мы единственные, несравненные, — даже они удивились бы, если бы узнали, с кем, около кого их положили, если бы услышали, что́ мы в них открыли при тщательном изучении. Открыли, как при жизни их тоже швыряло и несло по воле волн, скопом прибивало к берегу, уносило и приносило приливом и отливом.

А теперь и этому надо непременно определить место, и поскорей — он того заслужил хотя бы потому, что вызвал столько шума, надо хоть временно найти ему местечко... среди мелкоты, разумеется, это бесспорно... Но весь вопрос в том — среди какой мелкоты, у ног каких великих?

— Что действительно было у Брейе, что так приятно поражало, когда читались «Золотые плоды»... должен сказать, что я всегда это думал, только не говорил... я же не сумасшедший... да и кто бы посмел?.. что в нем очаровывало — это то, как вдруг останавливаешься и думаешь: погоди, погоди-ка, что это? Откуда же это взято?.. Как будто я уже где-то слышал, знакомый перезвон, и этот ритм, эта каденция фразы... та же тональность... а этот образ, он тоже что-то напоминает, где-то я уже видел... Одно выражение, иногда одно слово — и уже начинаешь искать, припоминать... Мне самому было занятно. Подтверждало, что мой маленький, так сказать, интеллектуальный багаж все еще в целости и сохранности. Почти всегда я находил то, что искал. Книжки вроде «Золотых плодов» — настоящая головоломка. Вся сборная — из кусочков, отовсюду понемножку...

— Правда, ваша правда... Знаете, я у него нашел Анакреона...

— А я — мадемуазель де Скюдери...

— Лотреамона...

— А Стерн, вы забыли Стерна. От него там больше всего...

— Нет, тут я не согласен. Вспомните Томаса Манна, его первые вещи...

— Разве Брейе знает немецкий?

— Но Манн давным-давно вышел по-французски, правда, малым тиражом. Его нигде не достать, но несколько лет назад мне попался в руки один экземпляр. Сходство потрясающее...

— Ну, вы... Разве от вас скроешь. Да есть ли для вас в литературе хоть какой-нибудь уголочек...

— Помилуйте, вы мне просто льстите...

— Вы на меня не сердитесь, но, честное слово, когда речь идет об этих «Золотых плодах», тут нечего далеко искать. Образцы рядом... Невооруженным глазом видно...

— И заметьте, будь у Брейе талант, все это не имело бы значения... Все зависит от того, как использован материал, что из него сделано. А сделал-то он не бог весть что — вот в чем беда...

— Да, все покрыто лачком... под стать моде... Конечно, нельзя ему отказать в известном умении.

— Да? Вы так думаете?

— Конечно. Этим он и ухитрился всех соблазнить. Казалось, все новое и вместе с тем знакомое. Читатель это обожает... так и надо писать, если хочешь успеха, поверьте, в этом весь секрет...

— Ну, если это назвать успехом... вы посмотрите, что с ним сталось, с беднягой. На днях один человек прямо, без обиняков сказал мне в глаза, что та знаменитая любовная сцена из «Золотых плодов» словно списана из дешевого журнальчика, знаете — «Тайны сердца».

— Да, что правда, то правда, ничего не скажешь...

— А по-моему, мы слишком с ним нянчимся... Ломаем голову, отыскиваем ему предшественников, учителей. Томас Манн... Лотреамон... Спрашиваем себя: куда его деть?.. Рядом с кем?.. Уверяю вас, все это остатки наваждения.

— В общую могилу... и всё... туда ему и дорога... Чем скорее их забудешь, эти книжонки, тем лучше.

* * *

Да, ничего не поделаешь, надо признать: плохо нам приходится. В скверное положение мы с тобой попали. И одиноки, так одиноки, что поверить невозможно... И я понапрасну все время пытаюсь... нельзя без этого... кто знает... а вдруг неожиданно ответят... прозвучит чей-то голос... и сразу станет легче! Только бы это, и уже кажется — мы почти спасены. Но сколько я ни пробую — в минуту затишья, молчания — сказать достаточно твердо, чтобы заставить их слушать, но все же мягко, чтобы их не спугнуть, сколько раз я им ни говорил: «А «Золотые плоды»?», — мне на это отвечает только чей-то беглый взгляд — скользнет и отвернется. А чаще всего никто и не слышит.

Все дело в том, что они вечно заняты, вечно у них стоит крик, шум. Без конца вопят, без конца млеют от восторга... И эта непоколебимая самоуверенность, каждый раз я от нее теряюсь. И все имена, имена, запомнить невозможно.

«Человек в космосе»... «Грандиозное полотно»... «Лучше „Войны и мира“»... «Наш современник перед проблемой сегодняшнего дня» — вот что их занимает в данную минуту. Я замечаю, что в такие моменты, когда История несет их по волнам, словно роскошный океанский лайнер, оснащенный всей современной техникой, вздымающий на ходу огромные валы и фонтаны брызг, играющий утлыми суденышками так, что те, чуть не опрокидываясь, пляшут на волнах, — я замечаю, что в такие моменты они особенно самоуверенны, самодовольны. Надо признать, что в каком-то отношении их можно понять. Я даже завидовал им иногда... На меня это действовало... и тут меня одолевало любопытство, толкала вперед моя непредубежденность — лучшая черта моего характера, скажу, не хвалясь. И я забирался на эти гигантские суда, вблизи осматривал эти фрески, воплотившие размах нашей современности. Но ничего не поделаешь — мне было не по себе, мне было скучно.

Ведь для того, чтобы я не чувствовал никакого напряжения, чтобы у меня на душе было спокойно, я непременно должен отыскать... все равно в чем... я это

ощущаю очень отчетливо, только не знаю, как выразить... слов мне не хватает, а те, что есть, они такие бедные, захватанные, стертые... ими пользовался кто попало, для чего попало... Мне бы владеть отточенным словарем этих ученых, докторов наук... Знаю, они посмеялись бы надо мной, если бы услышали, что я говорю. К счастью, они никогда не слушают... Так вот... я только хочу сказать, что мне для того, чтобы ощутить уверенность, спокойствие, как ощущают они все, мне для этого надо найти... где угодно — даже в гигантском полотне, почему бы и нет?..— я человек непредвзятый... мне надо почувствовать... сам не знаю, как это назвать... ну, то, что чувствуешь, видя, как робко пробивается первая травинка... или нераспустившийся крокус... от него что-то исходит... это еще не аромат, даже не запах, а что-то безымянное — не запах, а предвестник запаха... Мне кажется, что это оно и есть... что-то такое, что меня забирает, осторожно, медленно — и держит, не отпускает... что-то нетронутое, невинное... будто податливые детские пальчики уцепились за мою руку, будто рука ребенка уютно угнездилась в моей ладони. И во мне ширится такое чистое доверие... оно проникает все мое существо...

Во что бы то ни стало я хочу быть на высоте... не предавать тебя... оттого мне иногда хочется забыть всякую осторожность и крикнуть... хотя, может быть, и не стоило бы, может быть, и для тебя и для меня лучше, чтобы о нас забыли... Но меня так и тянет спросить: «А «Золотые плоды»?.. Помните вы их?..» Только так, напрямик, можно подойти... Какое значение имеют все эти океанские лайнеры, все стройки в мировом масштабе, если нет в них нераспустившегося крокуса, нет детской ручонки... Есть оно или нет — вот в чем все дело. Поверьте мне, только это имеет значение... И я спрашиваю себя, как будет, когда тем, кто сегодня в силе, придется уцепиться за таких, как я, чтобы проплыть весь дальний путь, как они это сделают, за что схватятся?.. Но я сдерживаюсь, я молчу. Насмешки могут уничтожить. Они бьют так метко... а мы такие незащищенные... Но, быть может — и мне иногда это чудится,— быть может, безотчетно я чувствую, что даже сейчас мы с тобой сильнее их... Быть может, я их

даже жалею... Сам не знаю... Давай просто скажем, как обычно говорится, что я молчу из вежливости, из врожденной деликатности. Оттого и не высказываюсь.

Но еще в то время, когда мы с тобой только что встретились, еще до того, как они все завладели тобой, стали устраивать в твою честь пышные приемы под охраной полицейских кордонов, еще тогда я соблюдал осторожность. Я выжидал, как делают многие, чтобы начали другие... хотел посмотреть, куда они направятся, чтобы пойти с ними в ногу.

Говорят, что люди больше всего обижаются, если их упрекнуть, что они поют фальшиво. Я полагаю, что гораздо обиднее, если тебя подозревают в отсутствии вкуса. Поэтому у меня всегда первый порыв — отойти в сторону. Кто я такой, в конце концов? Что я сделал? Мне ни разу и в голову не пришло попробовать написать роман. Понятия не имею, как за это взяться. Я даже не отдаю себе отчета, когда, например, читаю тебя,— трудно ли тебе было писать, в чем именно заключались эти трудности. Не могу себе представить, какие препятствия стояли у тебя на пути. Мне казалось, что все шло как по маслу. Все развивалось естественно. Но когда я вижу, как люди компетентные спокойно разрезают на куски какое-нибудь произведение, рассматривают отдельные отрывки: «Вот тут совсем недурно, очень хорошо задумано, это большая авторская удача. Вы заметили сцену у кладбищенских ворот? Превосходно. А старушка на скамье, у лужайки?..» Спору нет, куски прекрасные... я всегда поражаюсь, как они могут это делать. А мне все равно что, все равно, какой отрывок, пусть самый маленький, взятый наугад,— мне важно одно: вошел он мне в душу или нет. Стоит ему проникнуть в меня, как он и остальное потянет за собой. И получается одно целое. Как живое существо. Но для них, очевидно, все по-другому. И оттого, что я перед ним чувствую себя безоружным, я начинаю сомневаться. Даже по отношению к тебе это бывало. Но каждый раз, когда я снова перечитываю тебя, когда я готов признать, что я ошибся... сразу между мной и тобой что-то начинается заново... И тогда во мне крепнет уверенность... Тем более что я давно убедился: всех этих знатоков, которые так меня поражали, очень

легко сбить с толку... вечно они меняются, отрицают прежнее, забывают... А послушаешь их в такие минуты... Опять повторяются, опять говорят те же слова. Можно подумать, что речь снова идет о тебе. Забыта «грандиозная фреска», потонул «пароход Истории»... снова идет разговор о «прелестной безделушке», о «ювелирной работе»... Совершенство... лучшее, что написано за последние пятнадцать... за последние двадцать лет... И цифры-то всегда одни и те же между десятью и двадцатью... зависит от того, насколько они пришли в экстаз, насколько стараются перещеголять друг друга... Но в какой бы транс они ни впали, дальше тридцати лет они идти не смеют. Впрочем, недавно у них хватило нахальства — и главное, ради чего! — дойти до пятидесяти лет, даже до ста!

Но, кажется, я слишком долго выжидал. Час пробил. Надо попытаться снова. Нельзя терять столько времени. Буду действовать осторожно. Там, среди них, есть один, он держится чуть в стороне от других, видно, он человек чуткий, восприимчивый. Сейчас спрошу его осторожно о тебе:

— А «Золотые плоды»? Вы их помните?

— Золотые — чего?

Вот и весь ответ... И не удивительно. Много месяцев я уже не встречал тех, кто помнил бы о твоем существовании. Никогда больше не упоминают твое имя. Но я чувствовал, что с ним я могу быть настойчивее:

— Между нами говоря, ведь книга блестящая. И так забыта — понять не могу, отчего. Прочтите ее, обязательно прочтите.

И он сказал, что посмотрит... Думаю, он это сделает, ему можно верить... А кто знает? Может быть, тот, другой голос и окажется его голосом?

Понимаешь, нельзя терять надежду, это неправильно. Не может быть, что я — какое-то исключение. На свете, безусловно, есть много таких, как я. Таких же застенчивых. Немного ушедших в себя. Не привыкших выражать свое мнение. Может быть, они робко окликают нас, а им никто не отвечает. Однако не забывай: для полной уверенности мало знать, что они сущест-

вуют. Ведь не только ты производишь на них то же впечатление, что и на меня: иногда они оказываются под впечатлением таких вещей, что и подумать страшно. Знаю, от этого можно прийти в отчаяние. Иногда я так теряюсь, что снова готов усомниться: уж не ошибся ли я сам?

Но нельзя не признать, что чем дальше, чем больше времени проходит, тем больше повышаются твои шансы на благополучный исход. Это молчание, куда тебя погрузили, сорвав все пышные одежды, все прежние украшения, молчание, где ты в наготе, в чистоте плывешь по течению, а я цепляюсь за тебя,— оно объединило нас, связало крепко-накрепко. Теперь ты настолько близка мне, настолько стала частью меня самого, что, по-моему, перестань ты существовать, и во мне что-то отомрет, станет безжизненной тканью.

Есть ли что удивительней, чем твоя сила сопротивления и мое упорство? И все те, кто, как я, хочет помочь тебе выплыть на берег, переплыть пучину, все должны, несмотря на свои слабости, внушать тебе доверие. Я часто говорю себе, может быть, только благодаря таким, как я, скромным, незаметным, но непоколебимым в своем упорстве, могут выстоять и выжить такие книги, как ты. Кажется, никто в это не вникал как следует. А стоило бы, это интересно. Что касается меня, то я так и не могу понять, каким образом это происходит.

Иногда я себя спрашиваю: а что с тобой будет потом, без меня... где тебе удастся выплыть, к какому берегу тебя прибьет? Бывало, что и те, кто пустился в плавание при самых благоприятных условиях, окруженные признанием самых изысканных знатоков, в конце концов были подобраны на берегу детьми и с тех пор служат им забавой. Правда, бывает и так, что взрослые вдруг на время отбирают эту игрушку у детей. Но это случается не так часто.

А бывает и так, что книги, которые отовсюду выталкивали, вдруг через много лет возвращаются снова, лежат на столиках в кафе, красуются в салонах. Сдается мне, что такие, как они, никогда не исчезнут совсем. За них, по-моему, бояться нечего.

— А «Золотые плоды»? Вы их еще помните?

Какое усилие приходится делать каждый раз... Мне оно трудно дается... Чувствуешь, как в них неотвратимо начинает действовать какой-то механизм... будто заводишь будильник, пускаешь в ход часы... И ждешь, пока зазвонит звонок. Даже в те времена, когда одно твое название вызывало громкие крики восхищения, одна мысль, что так будет, приводила меня в ярость, мне хотелось их потрясти, перекрутить пружину, чтобы заставить их звонить невпопад. Но теперь...

— А «Золотые плоды»? — Ну вот. Часовой механизм заработал... «Ах, вы об этом»... Вот оно, задребезжало — начинается... «Вот оно что»... Бьют часы: «Значит, вы все еще... о „Золотых плодах“?»

О РОМАНЕ Н. САРРОТ «ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ»

Известность имени автора иной раз обгоняет знакомство с его книгами. Натали Саррот принадлежит к числу тех западных писателей, о которых мы были наслышаны, прежде чем стали их читать.

Имя Натали Саррот встречалось в статьях наших критиков, полемизировавших с так называемой «алитературой» во Франции, авангардистским «новым романом». Натали Саррот едва ли не самая заметная фигура этого направления, и защитники жанра романа не раз укоряли ее как одного из разрушителей почтенной и заслуженной литературной формы. С другой стороны, Н. Саррот известна своими прогрессивными взглядами, искренними симпатиями к нашей стране, где у нее много друзей и где она не однажды побывала за последние годы.

Однако о книгах ее мы знали до сих пор понаслышке. Если не считать случайных отрывков из романа «Планетарий», появившихся несколько лет назад в «Иностранной литературе», «Золотые плоды» — первое серьезное знакомство русского читателя с этим автором.

Необычайная судьба писательницы заслуживает того, чтобы сказать о ней немного подробнее. Натали Саррот (Наталия Ильинична Черняк), русская по происхождению, родилась в 1902 году в Иваново-Вознесенске. Ее отец, инженер-химик, был связан с революционной террористической организацией и после 1905 года был вынужден эмигрировать за границу. С детских лет живя в Париже, Натали Саррот получила здесь образование и до 1939 года занималась профессией адвоката. В 1939 году появилось ее первое произведение «Тропизмы», намечавшее черты жанра и стиля, характерного для писательницы. «Золотым плодам» (1963) предшествовали также в ее творчестве романы «Портрет незнакомца» (1948), «Мартеро»

(1953) и «Планетарий» (1959), а также эссе «Эра подозрений» (1956).

Обратимся же к книге, лежащей перед нами. Нелегко войти в эту густо психологическую, как перенасыщенный раствор, прозу. Герои, чаще всего безымянные, заранее не представлены читателю, и поначалу можно растеряться среди обрывочных разговоров, многоточий, психологических нюансов, вибраций и переливов, бесконечного потока внутренних монологов и диалогов. Но, пообвыкнув и освоившись с непривычной для нас литературной манерой, мы с интересом начинаем следить за существенным содержанием книги.

Название «Золотые плоды» забрано автором в кавычки. Роман под таким названием — главный герой книги, а его судьба составляет сюжет сочинения Н. Саррот. Случай более чем странный: книга о книге, роман о романе, история мнений, толков и критических суждений о нем, биография успеха книги — с ее начальной безвестностью, извлечением из небытия, нарастающей славой, триумфом, охлаждением к ней и, наконец, забвением.

Такой роман, по правде говоря, должен бы отбить у критика охоту рассуждать о нем. Лукавство книги в том, что она будто заранее предвосхищает возможные разнотолки о себе и того, кто решится ее оценивать, ставит в положение человека, как бы втянутого в сюжет романа и продолжающего его в натуре.

Тем не менее я рискну рассказать, о чем я думал, читая «странную» книгу Н. Саррот.

Внутренняя жизнь литературы и того, что происходит рядом с ней, вообще говоря, мало благодарный предмет для искусства. Когда художник творит, все время оглядываясь на себя, это чаще всего признак бедности впечатлений. Однако интерес книги Саррот в том, что она не поэтизирует артистическую среду, а подвергает ее скептическому анализу.

«Золотые плоды» больше напоминают литературный памфлет, психологический трактат, облеченный в изысканную художественную форму, чем собственно роман. Но не все ли равно, как назвать то, что умно и точно написано? Рационализм и дробность психологического письма, присущие школе «нового романа», предрасполагают к изображению состояний, но не характеров, положений, но не обстоятельств. Эти ресурсы, возможно, оказались бы бедны для более широкого и «позитив-

ного» сюжета, но для иронического анализа окололитературных нравов пришлись как раз впору.

Книга Саррот — острая, язвительная и умная — тесно связана с французской традицией. Она пришла из той же литературы, что дала нам племянника Рамо и господина Бержере. Дело специалистов по французской литературе поставить эту книгу в связь с другими произведениями Н. Саррот и всей школы «нового романа», указать на то, какое движение означала эта работа в ее творчестве.

Быть может, при этом обнаружится, что «новый роман» в лице Натали Саррот как бы бросает здесь ретроспективный взгляд на собственную судьбу, досадуя на непостоянство публики и критики и пытаясь оценить со стороны свою бурно вспыхнувшую, а ныне отчасти пригасшую славу. Ведь апогей интереса к «новому роману» в самом деле миновал. Позади опьянение литературных мэтров его оригинальностью и новизной, преувеличенные восторги, надежды и похвалы... Будь автор более самодоволен и поглощен своим успехом, охлаждение публики могло бы больно задеть его. Искренний и серьезный талант позволяет Натали Саррот критически оглянуться на свое окружение и на самою себя, угадать цену сенсационного успеха и неуспеха, создаваемого прессой и гостиными.

Впрочем, все это лишь догадки, и о том, в какой мере в «Золотых плодах» отразились отношения «нового романа» с публикой и критикой, лучше скажут знатоки. Нас больше занимает существенный, объективный смысл этого очерка нравов.

Натали Саррот тонко подметила и изобразила самый процесс зарождения мнений о книге, постепенного образования, затвердения и падения литературных репутаций. Объектом ее исследования и насмешки стала среда людей искусства, живущих в замкнутом мире цеховых интересов, и еще более специфическая окололитературная среда.

Иногда искусственно подогретый успех той или иной модной книги на Западе мы склонны толковать упрощенно, лишь как продукт рекламной шумихи, раздуваемой в коммерческих целях. Между тем коммерция и реклама нередко идут по стопам приговоров, вынесенных в элитных артистических кружках, среди столичных знатоков, ценителей изящного. Эти приговоры мгновенно подхватывает и разносит глядящая им в рот приближенная публика, а там уже они становятся общим достоянием.

Заслуга Саррот не в том, что она указала на это известное и раньше явление, а в том, что, как естествоиспытатель, воспроизвела его, будто в колбе, в своем романе и на тонком срезе исследовала патологию и физиологию литературного успеха.

С плохо скрытым ядом говорит Саррот об ужасном суеверии, окружающем искусство, попавшее в моду, о случайности и ненадежности репутаций, оценок, какие определяют нередко успех книги, фильма, спектакля, картины художника.

Искусство не терпит официальных приговоров. Но своим фанатизмом обладают и кружковые, неофициальные мнения, готовые навязать себя принудительно. Кружковая художественная среда выдвигает своих божков, своих идолов, поклоняясь им часто с полной безотчетностью, лишь потому, что так принято и освящено местными законодателями вкусов.

На первых порах репутация произведения может колебаться — приговор не произнесен и еще возможна свобода выбора. Но вот, обрывая минуту молчания и растерянности, кто-то, быть может, лишь более других самонадеянный и дерзкий, произносит слово одобрения или хулы, к нему присоединяется один, другой, третий — и словно электрический ток пробегает по избранной публике, заставляя всех повернуть головы в одну сторону.

Натали Саррот прекрасно показывает, как возникает террор кружковых мнений, как захватывают людей «массовые галлюцинации» взятых со слуха оценок и похвал. Тут признают только «своих» и с высокомерным презрением третируют простаков, претендующих на самобытность суждений. Тут существует немой уговор: не шокировать общество, петь, как все, и, если ты на это не годишься, у тебя почти вымогают одобрение тому, что здесь общепризнано. Трудно в иные минуты не поддакивать, не хвалить то, что хвалят вокруг, и случается, даже умный, серьезный человек, словно затиснутый в угол, начинает нехотя лицемерить.

В этой постоянно эстетически возбужденной толпе безопасно, пожалуй, проявлять свою точку зрения лишь в одном — в выборе все более звонких определений: «первоклассно», «грандиозно», «потрясающе», «неслыханно». Не худо также выкопать какую-либо малозаметную деталь, проходной абзац или страницу и горячо настаивать на их особой глубине и проникновенности. «Взгляд и нечто», по гениальному слову Грибоедова, все еще имеет неотразимую власть над тонко чувствующими

душами. Примеры тому в изобилии дает роман Натали Саррот. Так, если пошла мода на Курбэ, надо не только спешить присоединиться к этому увлечению, но еще и разыскать в самом дальнем закоулке выставки никем не замеченную «голову собаки» и демонстрировать ее всем как личное свое открытие. Ибо вся штука в том, чтобы, подчиняясь гипнозу общего мнения и больше всего боясь отстать от других, в то же время продемонстрировать свою индивидуальность, отличиться хотя бы в малом — мол, и мы не лыком шиты.

Ужасное разочарование постигнет того, кто ожидает получить в этой избранной среде объяснение и обоснование ее приговорам. В самом капище ума и вкуса — полнейшая безотчетность мысли, подчинение авторитетным предрассудкам, когда репутация выше создания, имя автора важнее его книги, фильма, полотна.

В ироническом изображении Саррот преследование мнений, расходящихся с суждениями кружка, предстает в виде драматической, едва ли не кровавой борьбы. Слишком дерзкое высказывание — выстрел, и несогласный падает в крови! Накал страстей, возникающий из-за несогласия безумца с господствующим вкусом, Натали Саррот отмечает неожиданным образным рядом: в перипетиях отвлеченного спора ей чудятся ловушки, западня, тюрьма, пытки, нападение стаи волков и т. п.

Эти трагикомические сравнения оправданны. Насилие над вкусом вызывает в конце концов ненависть не меньшую, чем любой иной вид насилия над человеческой личностью. Бывает даже, что внутреннее сопротивление рождает в человеке желание сказать наперекор, вызывает дерзкий эпатаж, нарочитую грубость, а в критике ведет к тому, что Тургенев называл «обратным общим местом». К несчастью, за этим чаще всего сквозит то же желание утвердить себя, свое мнение, а не истину. А истина скромна, говорит твердо, но тихо и может показаться — почти всегда даже кажется в этой среде — неумелой, неуместной.

Вернемся, впрочем, к «Золотым плодам». Только немногие в романе Натали Саррот решаются поначалу сопротивляться общему дурману, наваждению принудительных похвал. То, к чему одних приводит размышление, для других — непосредственная реакция чувства, инстинктивное отвращение к фальши. Жак и его подруга хотят быть независимыми, сохранить верность непосредственному восприятию — и, бог мой, как трудно это им дается. В чем, в сущности, они виноваты? Им не нра-

вятся «Золотые плоды» — и только, но их положению не позавидуешь. Мало того, что они рискуют быть уличенными в дурном тоне, отсталости, провинциальности, на них мгновенно обрушивается каскад привычных отговорок и софизмов. Вы говорите, что это место банально? А что, если автор как раз и добивался такого эффекта! Вы требуете разъяснить вам его достоинства с книгой в руках? Полноте, вправе ли мы вообще истолковывать искусство? Разве истолковать не значит профанировать его?

Храбрецов, несогласных с большинством, давят высокомерием, запугивают и принуждают думать на свой лад. Их пытаются склонить к тому, что в области искусства нет решительно никакой объективной опоры для суждений и оценок. А раз так — значит, надо смирить свою заносчивость и, чтобы не попасть впросак, меньше верить себе и повнимательнее слушать тех, чей вкус на нынешний день авторитетен.

Таковы, к примеру, ученые старички, поверх голов непосвященных ведущие свою беседу, нашпигованную терминами структурной поэтики, последним словом критической мысли. В воздухе плавают обрывки фраз: «непространственная структура», «семантическая модель», «герметичность». Эти дальние отголоски точных наук призваны на сей раз оправдать и освятить то, что неиспорченный вкус отказывается воспринять.

Лучше уж ничего не делать, чем делать ничего — это суждение, если не ошибаюсь, принадлежит Толстому. Похоже, что ценители «герметизма», схватившие со слуха термины строгой лингвистики, в содружестве с самими его создателями не покладая рук заняты тем, что делают ничего, производят мнимости и мнимо пытаются их объяснить.

Насмешка Натали Саррот над «герметической» литературой и «герметической» критикой показывает, как остро ощущает она исчерпанность и безысходность формализованного до самого дна творчества. Но также не по ней и мертвое академическое искусство, имитирующее классическую строгость и ясность.

Как все же научиться понимать, что хорошо, что дурно в искусстве? В чем искать опору своему чувству изящного? Как распознать, где живое искусство, где мертвое его подобие, где отважная новизна, а где спекуляция и шарлатанство?

На эти скептические вопросы сама Саррот не дает прямого ответа, но упорно внушает читателю: верь себе, непосредст-

венному чувству и здравому размышлению, не поддавайся игу чужих мнений, пристрастным суждениям гостиных и кружков. Идя чуть дальше, придется признать, что критериями, почерпнутыми внутри искусства, доказательствами «от искусства» тут не обойдешься. Следующим шагом неизбежно должно стать движение искусства к жизни, проверка искусства жизнью.

Что и говорить, искусство играет еще прискорбно малую роль в жизни большинства людей на земле. Но есть на земном шаре и такие — не столько географические, сколько социальные — зоны, точки, уголки, где его, похоже, слишком много, где люди объелись искусством, пресытились им. В этих избранных кружках произвольность восторгов и похвал, обращенных к очередному шедевру вроде «Золотых плодов» Брейе, легко сменяется столь же немотивированным охлаждением и презрением ко вчерашнему кумиру, так что находить в нем какие бы то ни было достоинства становится попросту неприличным.

Когда не думают о жизни, когда единственной реальностью становятся само искусство и суждения о нем, неизбежно возникает «заговор мнений», кастовая нетерпимость, ожесточенность принудительного обращения в свою эстетическую веру.

Конечно, движение искусства к жизни не надо понимать плоско. Дело во всяком случае не в требовании лишь внешнего жизнеподобия. Важнее вот что: искусство может соединять человека с жизнью или разводить его с нею. Одни ценят то, что соединяет, дает возможность лучше, вернее понять окружающий нас мир, самого себя и иных людей; другие — то, что разъединяет, отвлекает, уводит от реальности, навевает «сон золотой» или, ближе к нашему сюжету, кормит золотыми плодами, от которых во рту остается металлический привкус.

И вот это второго рода творчество все меньше устраивает Натали Саррот. В комнатную атмосферу, где душно от теоретических споров, эстетических тонкостей, психологических нюансов и голых абстракций, вдруг беззаконно и непрошенно является напоминание о живой плоти мира: пробившейся молодой траве, первом нежном запахе крокуса, доверчивой детской ручонке. Пусть эти образы не столь крупны и «масштабны», они приносят с собой свет и тепло живой жизни, напоминают о большом мире, где есть беды, борьба, горе, страдания и радости иные, чем те, что занимают людей, поглощенных выяснением смысла «жеста с шалью» в «гениальном» романе Брейе.

Взбунтовавшийся против традиций «новый роман» думал,

что он порывает все связи со «старым романом». На самом же деле выходит так, что он достигает истинного успеха в той мере, в какой своими утонченными средствами приближается к воплощению широкого мира человеческих интересов, социальных и нравственных идей, всегда занимавших внимание великих романистов прошлого.

Быть может, книге Саррот и не суждена у нас широкая читательская известность: для этого она все же слишком психологична и «умственна», слишком специфичен ее сюжет. Но вместе с тем можно не сомневаться, что многие прочтут ее не только с интересом, но и с пользой. Особенно должна она запомниться тем, кого более всего касается,— критикам, литераторам, вообще людям художественной среды.

Ведь нельзя сказать, чтобы история «Золотых плодов», характерная для культурной жизни западного мира, при многих очевидных различиях была бы вовсе не актуальной для нас. Конечно, если взять всю совокупность литературно-общественной жизни, можно сказать, что решающее мнение о книге образуется у нас не в салонах и кружках; оно создается, как правило, куда менее стихийным, более целенаправленным и регулируемым образом. Но разве не бывали мы при этом свидетелями искусственного вздутия и ужасающего падения литературных репутаций, критических обольщений, увлечений и разочарований?

Так или иначе, но после романа Натали Саррот, думаю, уже не надо будет длинно объяснять: такая-то книга (или спектакль, или фильм) с раздутой, искусственной славой была лакомой приманкой для многих читателей и критиков, но прошло время, и вот уже никто не решится сказать о ней доброго слова. Достаточно произнести: «Это история „Золотых плодов“» — и вас мигом поймут.

А если так — значит, автор в своем остром очерке литературного быта подметил и выразил какую-то сторону жизни с убедительной законченностью и рельефностью.

В этом я вижу главное достоинство книги, с которой наш читатель имеет теперь возможность познакомиться в виртуозном по словесному мастерству переводе Риты Райт.

В. Лакшин

Натали Саррот

ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ

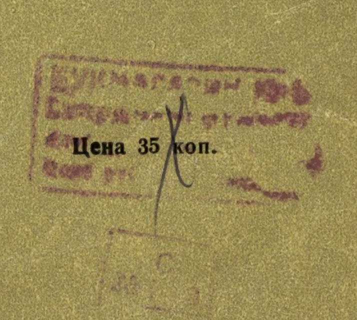
Художник *В. Кириллов*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технические редакторы *В. Шиц, Г. Калинцева*
Корректор *М. Филиппенко*

Сдано в производство 3/VI 1968 г.
Подписано к печати 20/IX 1968 г.
Бумага № 2—84×108 $^{1}/_{32}$. Бум. л. 2—6,72 печ. л.
Уч.-изд. л. 7,03. Изд. № 12/8216.
Цена 35 коп. Зак. 2885.

Издательство «Прогресс»
Ком тета по печати при Совете Министров СССР
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28





Цена 35 коп.